

ОЛЕГ ПАВЛОВ РУССКИЙ ЧЕЛОВЕК В XX ВЕКЕ

ОЛЕГ ПАВЛОВ

РУССКИЙ ЧЕЛОВЕК



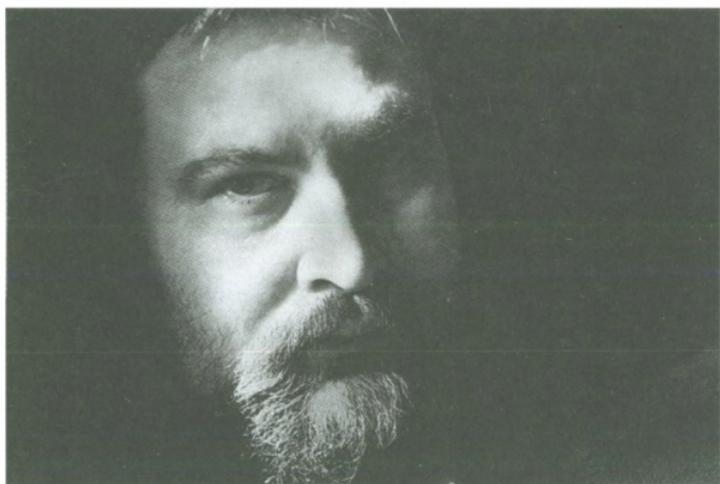
В

XX

ВЕКЕ







ОЛЕГ ПАВЛОВ

РУССКИЙ ЧЕЛОВЕК
В
XX
ВЕКЕ

МОСКВА
РУССКИЙ ПУТЬ
2003

ББК 84(2Рос)6
П-12

ISBN 5-85887-166-6

Оформление *С.Б. Трофимов*

*В оформлении использован
рисунок П.Н. Филонова
(Без названия. 1925)*

© О.О. Павлов, 2003

© С.Б. Трофимов, оформление, 2003

© И.Е. Ивандиков, фото, 2003

© Русский путь, 2003

СОДЕРЖАНИЕ

РУССКИЕ ПИСЬМА	
7	
КАЗЁННЫЙ ДОМ	
87	
РУССКАЯ АТЛАНТИДА	
96	
БЫВШИЕ ЛЮДИ	
103	
РАБЫ В СОЛДАТСКИХ РОБАХ	
114	
ЧУЖАЯ ИМПЕРИЯ	
127	
НАША ВОЙНА	
134	
ЧЁРНЫЙ ПЕРЕДЕЛ	
144	
ПОСЛЕ ПЛАТОНОВА	
151	
КОММЕНТАРИИ К АДУ	
162	
РУССКИЙ ЧЕЛОВЕК В XX ВЕКЕ	
176	
Из дневника больничного охранника	
198	
КТО ТВОЙ БРАТ?	
227	
КОНЕЦ ВЕКА	
235	

РУССКИЕ ПИСЬМА

Основой для этих размышлений послужили письма, адресованные А.И. Солженицыну в начале 90-х годов и публикуемые с его согласия. Каждое письмо содержало просьбу предать написанное гласности.

МАНИФЕСТЫ СОВЕСТИ

Как узнать не то что обо всём, а хотя бы услышать ближнего. Вот вдруг стало известно: тихо, незаметно исчезла в России птица сойка. О ней забыли так давно, что некому теперь горевать. Всполошился совестливо, вспомнил, слезу пролил один старый уж человек — и сам же сокрушался: а что с того для большинства, что исчезла какая-то позабытая давно птица, какая-то там сойка... А какая польза от одного человека? Кому нужна-то его жизнь? Пожил — ну и умри в свой

час. И на что нам правда, если всё равно умрём? Зачем истины нужны, если живеи не будешь? Но миллионы раз люди, все-то невеликие, с мыслью о самом насущном, а не о бессмертии, обращались друг к другу, нуждаясь в изъяснении себя.

Написанное в письмах или в дневниках запечатывают, прячут. Человеку свойственно при жизни хранить тайну о себе и о своих делах, чего-то стыдясь или опасаясь, — и только правдоискатель не терпит ничего тайного. Что есть правда, как не вскрытая и выпотрошенная тайна? Видим не замысел, а умысел, наущение дьявольское — не добро, но зло. И воскрешаем себя, ещё-то живущих, но «погибших во зле», не молитвой, а бунтом. Есть бунт кровавый и открывающий нараспашку всё, скопленное в душах. И есть бунт жертвенный, открывающий точно так же скопленное в душе. Жертвенный бунт — обличение. Принесение себя в жертву во имя открытия правды. Во имя слова правды. Открытие слов, волевое превращение личного да тайного в общую боль — и есть русское письмо. Философский, социальный — всё едино... Бунт.

Россия на многие века — страна «воровских грамот», «подмётных писем», «прокламаций», «листовок», «самиздата». Русские пишут открыто, протестуют веков пять кряду, и Россия — огнедышащий вулкан человеческого протеста. Вулкан то тлеет, то извергается — и с той же неотвратимостью наш бунт метафизический из тлевшего извергает расплавленные взрывы крови да огня. Что было твердью — дрожит под ногами, ломается от

цивилизационных, подобных тектоническим, сдвигов. Счастливый билет в Царство Божие возвращают тоже не один век. Возвращает его Курбский, открыто письмами обратившийся не иначе то против помазанника Божьего на земле — и о том, о божественном праве и о «слезинке», Иван Грозный с Курбским уже вели свой спор. Карамазовский и вопрос, и разговор — суть русский, вневременной.

Поучения да слова о благодати, что полны были христианского смирения и тайны, в русской истории так скоро кончаются, как скоро обрушился закон. Закон — это «Суд от Бога, а не от тебя». А братоубийство, всевластие — всё то, что движет ходом истории — русский человек однажды и уже навсегда осознал Концом, Судом не от Бога. «Не куда жить» — вот русский апокалипсис. И не грядущий, а давно в сознании человека наступивший. Вот и русские письма — все возникают, как человеческие голоса, из пустот не мирных времён, а самых трагических. Это письма от жертвы к палачу, в которых обличение и покаяние — одной крови. Приносящий себя в жертву возвышается покаянием, ведь никогда покаянием не возвысится настоящий или будущий палач: «...не хотел ведь я крови твоей видеть; но не дай мне Бог крови ни от руки твоей видеть, ни от повеления твоего...» Пафос открытости русского письма задан обращениями. Протопоп Аввакум, сидя в яме земляной, волен был обратиться и к Богу, и к Царю. В письмах же к царю Алексею Михайловичу частенько поминает он о том, сидя в яме, что молится за него, но само его письмо не есть молитва.

Обратить волю свою только в молитву, слышную только Богу, но не людям, и оказывается для русского человека невозможно. Даже о молитве, как о тайне, он откроет в письме, ведь и ощущает неведомую новую силу слов, какую обретают они, когда тайное становится явным. Какую? Самую великую! Писавший и обращавшийся к «чтущим и слышущим», воплощал то о б щ е е, ради чего и жертвовал собой. Воплощался душой в своем народе.

Век просвещённых людей и философского бунта — это «Философические письма» Чаадаева, письмо Белинского к Гоголю. Появились «общественные вопросы», и ни для кого они не были тайной. Поэтому и правдоискатель — не обличал, а вступал в открытый спор. Философская переписка сменилась открытыми обращениями к обществу с острейшими социальными вопросами. Это обращение к людям не делало Достоевского или Толстого писателями, но если в России слово становилось поступком — то для писателя; а если в слово писателя верили — то оно увлекало за собой людей. Но есть вредная глупость, заявляющая, будто бы эта вера подменила собой веру в Бога и увлекла к бунту. Прежде всего, Толстой или Достоевский сами верили в Бога — и увещевали своими обращениями от кровопролития и казней, но их никто не слышал! Царское правительство казнило революционеров, революционеры казнили министров, градоначальников, готовили смерть царям.

Особая личная нравственная позиция уже-то становилась в подобной атмосфере поступком.

Русский писатель призывал: вопросы устройства общества не могут быть решены насилием или произволом. Это было обращением к совести человеческой, с мыслью, что и главное в человеке — это не бунтующий ум, не оскорблённая душа, а совесть. Новая нравственность, разрешающая казнить во имя установления на земле справедливости, рождала страстную отповедь в защиту человека вообще, потому как именно человеческую жизнь готовы были принести в жертву: на крови, как на основании, строить новый справедливый мир. Только человечность, обращённость к совести человеческой, окружила писателя русского мифом заступника. Таковым он не был, не мог быть — ну разве только Толстой, вступившийся за духоборов и старообрядцев. Горький, хотевший быть духовным учителем, веруя в знание, единственный сознательно посвятил себя этому мифу — но, спасая по человеку людей себе близких и помогая миру искусства, миссию свою не исполнил. Его трагическое двойство обнажило этот моральный надлом: видел перед глазами и сталинские лагеря с миллионами узников, и парадные массы новообращённых советских людей — поделённый надвое, как на плахе, свой народ, но оказался не в силах быть заступником и учителем, а совершил выбор, который, что и внушил себе, совершила сама история.

Но в будущем именно миф о народном заступнике превратит опять же русского писателя в ответственного уже и не перед историей, а перед людьми: обращавшийся прежде сам к людям, он станет маяком для нуждающихся в помощи, в заступни-

честве, так что потекут к нему реками полные боли и открытости письма. А после революции уже русский писатель пишет полные боли, но и гнева письма к палачам... Новой власти пишет с обличением Короленко. Сталину — Раскольников. Но потом писать станут с просьбой о заступничестве — не обличая уже, а с мольбой за себя или самых близких... Такие письма Сталину напишут Замятин, Булгаков, Ахматова... Да кто их не писал — за сыновей, с просьбой о помиловании или с последней верой что «он ничего не знает»! Их писала массово вся приговорённая Россия, умоляя своего палача о пощаде. Русские письма — не бунтующие, а умоляющие — рождаются миллионами обретших свой голос в слове человеческих душ. Миллионы писем... Это и потому, что уже всеобщей стала грамотность. Но и потому, что миллионы теряют кто свободу, кто родных — и вот ищут друга друга или добиваются правды. Такой же утратой личной свободы и близких становится для людей война. Письма на фронт, письма с фронта. А были и такие, которые писались кровью... Кто писал с фронта, знал, что письмо может быть вскрыто в особом отделе и, если что, окажешься в лапах смершевцев. Поэтому писали — одно для цензуры; а зная наверное, что письмишко смершевцев обманет, проскользнёт, — всю правду.

Книга, которой суждено было скорбно разделить новый кровавый век на две эпохи, — это «Архипелаг ГУЛag».

Арест... Фронтовой офицер был арестован — перехвачено крамольное письмо к другу. А в офицерском планшете бунтарская «Резолюция № 1».

Найдут при обыске ещё дневник, писавшийся не для чужих глаз. Случай Солженицына — судьба, но вот судьба — не случай. Всё должно было произойти именно так: «Мы переписывались с ним во время войны между двумя участками фронта и не могли, при военной цензуре, удержаться от почти открытого выражения в письмах своих политических негодований и ругательств, которыми поносили Мудрейшего из Мудрейших, прозрачно закодированного нами из Отца в Пахана». В тюрьме над наивностью заговорщиков смеялись: «Говорили мне, что других таких телят и найти нельзя. И я тоже в этом уверился». Но однажды откроет для себя с удивлением ещё одну похожую судьбу: «Вдруг, читая исследование о деле Александра Ульянова, узнал, что они попались на том же самом — на неосторожной переписке, и только это спасло жизнь Александру III 1 марта 1887 года». Спасло жизнь царя, и погубило другую — Ульянова, а брат казнённого отнял жизнь — у последнего русского царя.

Солженицын писал «Архипелаг ГУЛаг» с опорой на читательские письма, что хлынули к автору рассказа об одном дне Ивана Денисовича. Письмо освобождало от немоты. Ни одно произведение не рождало ещё такого стихийно сплочённого обращения людей, пробуждения веры в справедливость, в победу добра, духа человеческого над злом. Слово его было услышано! Читая открытые обращения Солженицына того времени, читая «Жить не по лжи», удивительно понимать, что всего десяток лет тому назад всё безмолвствовало.

Когда голос самого Солженицына будет заглушен, а потом и смолкнет в изгнании, советские люди будут продолжать писать... Пробуждена вера в литературу — и читатели не одно десятилетие откликаются на журнальные публикации. А уже в нарушение запретов, в СССР возникает самиздат: переписанные от руки или отпечатанные на машинке, тайно от человека к человеку ходят листы художественных и публицистических произведений, которые читают как письма. Обращения людей в газеты, в органы власти были также массовы. Письма трудящихся всячески поощряются властью. Письма с жалобами на произвол инстанций или даже на качество товара посылали в газету — и газета, почти каждая, будто уполномоченная государством, отсылала письмо на проверку. Вера и отзывчивость людей были массовыми: газеты открывали тематические рубрики, где письма публиковались как монологи — а в ответ шли сотни, а когда и тысячи писем, обращённые к этим людям с предложениями дружбы, помощи, со своими мнениями.

Эту силу доверия, отзывчивости подхлестнуло гласностью, когда и тиражи массовых изданий в стране достигли миллионных отметок. Явилось понятие «общественное мнение», что было символом поначалу нового порядка вещей — того, что власть оборачивается к человеку и осознаёт себя зависимой от его мнения или же выбора. Обличения насыщали это мнение, как губку. И если поначалу общественное мнение казалось силой самостоятельной — перед которой заискивали, на которую опирались, то скоро научились управлять,

а потом и помыкать. Управляли — чтоб прийти к власти. Помыкали — придя к власти.

Последний всплеск веры людской — 1991 год. Впервые за всю историю народ получил свободу выбора. С 1989 года власть избирается — и президенты, и депутаты, — а важнейшие вопросы решаются на всенародных референдумах. И новая конституция, сменившая экономический и политический строй, была одобрена народом. То есть свершились по воле большинства все исторические перемены.

Тот или иной общественный выбор теперь — это не нравственный вопрос, так как он совершается волей обычного большинства, то есть волей аморфной, обобществляющей сумму самых обывательских предпочтений да интересов. Прежде он свершался как нравственный волей открыто протестующего меньшинства, и люди следовали за ним, движимые только верой, как за обращением, к ним посланным. Этот нравственный выбор меньшинства мог быть по сути бесчеловечным — как выбор революционный. А мог быть вовсе выбором одиночки — как в одиночку, только своей волей, Солженицын рушил фундаменты лжи под коммунистическим зданием.

Сегодня всё свершается из того или иного корыстного интереса. Общественное мнение ничего не решает, презирает само себя, и его едва-едва возбуждают мерзкими сексуальными скандалами. Между людьми в России почти прекратилась даже личная, семейная переписка — не от нищеты, очевидно, а от неверия в её смысл. Мало кто ве-

рит, что он живёт и что кругом продолжается жизнь. Люди никому и ничему не верят, но и нет глубокой жажды правды, воли к сопротивлению, потому что большинство если способно ещё бороться, так только за свое физическое существование. Хоть всё покрыто снова коростой лжи, но это ложь, дарованная вседозволенностью, которую даже не обличишь, потому как все мы сегодня — всё наше общество — живём во лжи животных инстинктов, законов собственного выживания, массовых вкусов.

Но сегодня, сегодня вдруг восклицает в письме человек: «Нет Бога, нет! Если б он был, он бы заплакал от такой ужасной несправедливости...» А другие восклицают: «Пусть придёт скорей Страшный суд!» — и зывают так вот истово к Богу.

В них, в русских письмах, сегодня мало есть возвышенного, но они все обращены по духу своему именно к Богу, а не к тем, кому отправлены были по почте, к таким же людям — на звук или свет их имён. Они, наверно, и написаны были и отосланы, когда в людях совершенно истратилась хоть какая-то вера. Но жить без надежды невозможно. Без неё — только умирать. А люди хотели и хотят жить, не могут смириться с мыслью, что должны исчезнуть бессмысленно, бесцельно, и упрямо цепляются за последнюю возможность кому-то верить, будто эта вера только и продлевает жизнь.

В современной России такую последнюю надежду смогли пробудить в людях всего несколько человек. Один — это президент страны, которому

кто-то всё ещё верил. Второй — это не солгавший ни в одном своём слове русский писатель. Писали ещё ссутуленному тихому человеку, будто святому, а когда он ушёл из жизни, то люди продолжали писать уже его жене, не желая смиряться с тем, что один из адресов был вычеркнут смертью.

Писали: «Кремль, Ельцину...», «Москва, телевидение, Солженицыну»... Люди писали с последней верой: «Спасите! Бейте в набат!» Но ведь и Сахарова, и Солженицына захлопывали, осмеивали, когда поднимались они на народную трибуну, и это избранники народные не желали их слушать. Тогда кого и как могли они спасти? Солженицын в очерках изгнания рассказывает: отвечал на письма людей, что обращались к нему, зная о его излечении от рака благодаря настою трав — самодельному, им же изобретённому лекарству — и раковым больным высылал рецепт.

ОДИН ЧЕЛОВЕК НЕ В СИЛАХ ОТВЕТИТЬ ВСЕМ,
КАК НЕ МОЖЕТ ОН ОТВЕТИТЬ ЗА ВСЕХ, И ТОЖЕ
ПОНЕСЁТ СВОЮ ДУШУ НА СУД НАРАВНЕ СО ВСЕ-
МИ, ДЕРЖА ОТВЕТ ЗА СВОИ ПОСТУПКИ И НЕПО-
СТУПКИ.

РОССИЯ ПИШЕТ

«Я простой рабочий и могу сказать о себе, что никогда не состоял в партии, не потому что я ненавидел эту систему, а просто из соображения, что партийный билет был корочкой для куска

хлеба определённой части её членов. А я не нуждался о том, что останусь без куска хлеба. Я и сейчас об этом не думаю, так как имею достаточную квалификацию, да и не одну профессию. Теперь мне 56 лет и будет просто смешно, чтоб я в свои года уже лживо перестроился в новые демократические порядки. Зато люди, которые вчера ещё сидели в партаппаратах и на руководящих должностях, быстро перепрыгнули на тот берег, прихватывая высшие должностные кресла, и ещё пуще разваливают страну, огульно её грабят на этот раз. Я помню послевоенное время, разруху и голод, когда карали, сажали за 1 кг зерна, картофеля. Мы понимали, голод был, но воровать нельзя. А сейчас крадут эшелонами, и не голодные, а которые бесятся с жиру. Уж если сажать, хоть миллионы таких, то надо сажать. Их надо лишать свободы и такой демократии. Аферистов, кто людей обманул, — сажать. Зато сейчас с каждого честного заработанного рубля заставляют честных людей платить чудовищно налоги. Да, я согласен, что в магазине почти есть всё, чего не было в социалистическом магазине, но какой толк, если всю зарплату можно проесть за неделю. Имею двоих детей, уже взрослых детей, мужчин, у которых уже есть свои семьи. Мои сыновья тоже не состоят в партиях. Но у них нет больше права на труд. Могут вышвырнуть с работы. Могут зарплату не платить».

«Пишет вам рядовой россиянин. С потолка Президента и Правительства — я баран и быдло. Хочу поделиться своим житеём и высказать моё

личное отношение к сегодняшнему дню (где так вольно дышит человек).

Родился я не под счастливой звездой. Мать была неграмотной деревенской женщиной. Четыре года ходила в первый класс, т.е. каждый год до первых морозов. Отца не помню. Погиб под Сталинградом без вести. Рос я в Приморье. Есть такой посёлок Липоведы. Жили в бараке. В комнате 3 на 5 метра. Нас — детей — было трое. Холод и голод ощущается детством до сих пор. С горем пополам окончил семь классов. По просьбе матери пошёл учиться в Р.У. г. Владивостока по специальности судовой сборщик. Её родной брат по этой части был мастером. И меня мать хотела видеть в этой форме. Когда я первый раз попал на судостроительный завод, где в то время, находясь в цехе, необходимо было кричать на ухо, я плакал. Это был ад. Это было в 1952 году. Прошло два года, и я стал работягой. В то время уже болела моя мама смертельной болезнью. Белокровие. Уволиться почти невозможно с завода. Куча справок. Увольняюсь. Еду домой. Маме 40 лет. Мать перед смертью просила меня, чтобы я после её смерти не бросил брата с сестрой. Я даю обещание. Этим обещанием похоронил все свои мечты. Так для меня наступили тяжёлые дни.

Я здоровьем не блистал. Надо было добывать хлеб. Я не мог устроиться на работу. На шахту не брали. Посёлок небольшой. Мои слёзы в комсомоле и КПСС не пробивали. Им было наплевать. И только на стройке шахтуправления меня приняли разнорабочим. Сменил молоток и зубило на лом и кирку. Зима, лом, траншея. Добываю хлеб.

От недоедания, мёрзлой земли в глазах искры. Мне советуют младшего брата устроить в интернат. Я все пороги обил в г. Уссурийске. Добрался до самых верхов, но никто меня не понял. Сестра желает учиться в техникуме. Мой заработок на стройке 700–800 рублей по тем временам. Сестре надо помогать. Не выдержала, пошла работать. Я с братом уезжаю на вновь строящийся завод по ремонту атомных лодок, его теперь часто по центральному ТВ показывают — бастуют. Одиннадцать лет отдал заводу. Учился заочно. Работал судовым сборщиком. Избирался освобождённым председателем цехкома. Работал инженером, ст. инженером, мастером, нормировщиком. Вступил в партию КПСС. В стране был подъём производства. И в магазинах было что-то. Шли шестидесятые годы (в бытность Хрущёва).

По семейным обстоятельствам переезжаю во Владивосток. Работаю на инструментальном заводе в должности ст. инженера. Масса обязанностей по общественной работе: член партийного бюро, член профкома, “постоянный председатель” по выборам в Верховный Совет, краевые и местные советы, командир народной дружины. Но языка за зубами удержать не смог. На заводе скандал между сторонниками старшего инженера и директора. Письмо в газету “Правда” послужило поводом для раздора. Нас — членов бюро — стали пытаться, то есть отношение к письму — комиссия из крайкома партии. Прямо и чётко говорю, что необходимо проверить все факты в письме и наказать виновного по фактам. Моё выступление не понравилось комиссии, правда,

наказали обе стороны. А через некоторое время идёт обмен партийных билетов. Идёт собеседование. А получать билет надо было у первого. Если б вы знали, как он этот билет крутил, как он сожалел, что мне его обменяли. Всё мне припомнил.

Вот уже двадцать лет я живу на одном месте. Завод с ноября месяца закрыт на неопределённый срок. Нет заказов. Я не у дел. Нас не увольняют и не дают работы.

А как мы с женой были рады, когда началась перестройка. Я с работы отпрашивался, когда по ТВ выступал Горбачёв. В рот заглядывал. Начался выход из партии КПСС. Сделал это и я. Я в партии пробыл 30 лет. Мне пришили персональное дело.

1991, август, сентябрь, ГКЧП. С женой ночью не спали, слушали голос России по радиоприёмнику. Волновались за Ельцина, за “демократию”. На заводе ТВ. Я даю интервью. Я — МЫ — все заводчане — поддерживаем Ельцина, свободный труд и зарплату.

Приватизация завода. Что это такое? Толком никто не знает, с чем её едят. Трудно понять. Нашему заводу навязывают приватизацию по 3-му варианту. Решаем. Хлопаем. И прохлопали. Я лично много сил тратил на сплочение рабочих, на борьбу против решений администрации завода. Моё обращение к рабочим свелось к тому, что они отказывались дать подпись под текстом обращения и т.д. А повязаны они были одним — это пьянство на работе. Всё им прощалось. Этим они были куплены. По этому принципу и сейчас народ живёт.

За что и поплатились. Теперь нас с завода выгнали. Я писал Чубайсу А.Б., что приватизация идёт неправильно. Писал, что заводы грабят. Наш завод знали во всех республиках СССР. Сейчас тяжело смотреть. Завод разграблен. Тяжело смотреть на разбитые окна цехов. Помещения цехов и отделов сдают в аренду. А это зарплата для администрации, для нас, рабочих, денег нет. Госкомимущество края подсунуло нам человека на пост директора. Мы все поверили. Он нам обещал до нового, 1995 г. погасить задолженность и вывести завод из прорвы. Вышло наоборот. Через два м-ца завод остановился. Пенсию оформлять невозможно, что положено делать отделу кадров, работяга бегаёт сам. А кругом пинают. Попробуй докажи.

И вот у меня сложилось в душе, что я виноват сам. Виноват за то, что я родился и жив, за доверие людям. Меня обманывала партия КПСС, затем Горбачёв М.С., затем Ельцин Б.Н. со своей командой во главе с Черномырдиным В.С. и Чубайсом. Что я имею на сегодня? Ответ. НИЩЕТУ. Только во сне забываешься, а как только открываются глаза, сразу же появляются боль в груди за свою бездеятельность и унижение. И так каждый день».

«Поскольку им нужно защищать себя от разоблачений со стороны народа, то они сплотились в единый клан. Потеря единства равноценна смерти. Именно по этой причине они из всех сил стараются “нейтрализовать” своего противника, народ, лишая его элементарных прав. Начиная от

местной администрации, милиции, прокуратуры, суда и кончая Верховным судом и аппаратом Президента, обращения граждан нигде не регистрируются. Это даёт чиновнику право не отвечать и выбрасывать любые заявления в мусорный ящик. В других структурах власти — не намного лучше. Следует добавить, что на Старой площади (аппарат Президента) организация приёма граждан, по сравнению с брежневскими временами, ухудшилась в несколько раз».

«Мы пытались начать демократию снизу — это выборы в начале года в местные органы власти. На всех уровнях выбраны все до единого, — представители “партии начальства”, прежних и нынешних хозяев жизни. На прежних выборах в 1990 г. — 10% были инакомыслящие. Основной фактор: уже четвёртое поколение живёт в перепуге. Наш край — край лишь непуганой номенклатуры. Она поняла истину: для основной массы населения удар по животу страшнее, чем удар по голове — это им дала перестройка. По-прежнему раньше — голосователи, теперь избиратели отдают голоса за тех, на кого начальство указало...»

«Россия никогда не была демократической страной. Раньше было — партия сказала надо, а мы должны были говорить, что обязательно сделаем. В 1991 году вдруг круто всё изменилось. Нам стали говорить, что к нам пришла демократия. Это только первая естественная стадия демократии. Она называется вседозволенностью. Хотя

у нас и есть различные силовые структуры, но они не могут остановить, да и не остановят рост несправедливости, коррупции, преступности. Даже при расцвете демократии нужны строгие регулирующие, а порой и ограничивающие законы. У нас же в России сейчас разрабатываются и стараются внедрить в жизнь законы, которые воспитывают и развивают в людях алчность, стремление к наживе любой ценой».

«А в деревнях всю жизнь угнетают, всё отбирают: т.е. молоко, яйцо, мясо. На полях остаётся много добра, всё делается по указке сверху, как будто они больше крестьянина знают, когда убирать урожай. Нет горючего, при нашем-то природном богатстве, наградила же природа людей неблагодарных, всё за границу, опустошают матушку землю».

«Получил немного землечки для устройства крестьянского (фермерского) хозяйства и тем и кормился до сих пор. Сажаю сад, развожу пчёл, выращиваю картофель и разный овощ – кормлю семью, часть урожая продаю. Работаю руками, произвожу экологически чистый продукт и не устаю надеяться на то, что наступит наконец такой день, когда нам потребуются учителя, когда народ потребует к себе таких и разгонит совсем всяких пастухов с палками и кнутами, какие до сих пор стоят над ним. Увы, дожидаться светлых дней нынче трудней. Хотя хорошие люди, конечно, есть, но народ парализован. Все по своим законам. Ну, а крестьяне, село, вообще потеряли

все здоровые силы. Смешно, но именно я, вообще-то городской человек, сегодня пытаюсь возвращать на бывшую ростовскую огородную землю огородные навыки. Раньше тебя поддерживали всё-таки то же телевидение или радио. А сегодня оттуда на страну никто ничего хорошего не вещает».

«Душат нас всех — и колхозы и совхозы (АО). Скота осталось в нашем совхозе Степановское 40–50% стада. Техника подошла на списание, выходила свой срок. Зарплаты не дают. Горючего на сегодня нет. В долг под урожай не дают. Чем сеять, неизвестно. Гужевого транспорта нет. Кто-то хотел купить убойное мясо. Зарезали 150 коров, покупатель сразу не приехал — и мясо пропало. Неделю вида нет. А когда приехал, пришлось этому заказчику отдать по 2000 рублей за кг. В Николаевском районе из-за какого-то дурака попало в банкроты 3 совхоза. Нечем рассчитаться с долгами банку. А в совхозе (АО) Вербенское было ж 4 отделения, самый большой был совхоз в районе. Сейчас продадут оставшийся скот, технику, что можно продать — продадут, и ничего людям не остаётся. Куда теперь им? С чего будут начинать? Мы, крестьяне, свою продукцию сдали государству в сентябре, но денег не получили. Горючим не запаслись. Работать нечем. Техники нет — сеяли лукошком. Всё дорого. Деньги наши за 7–6 месяцев съела инфляция. На душе у всех скверно. Ждём наших денег, обещают день, месяц, полгода... А веры никакой. Дров нет. Угля нет. Рубят, жгут лесополосы, а то дети помёрзнут».

«Тысячи фермеров стали отказываться от земли, а правительство вновь занялось коллективными хозяйствами, с каких легче взимать налоги. Крупному хозяйству, разумеется, легче приобрести дорогостоящую технику. В его распоряжении лучшие земли. Но беда в том, что колхозник разучился работать. За годы колхозов погибло столько скота, сколько его, наверное, не было в Америке. А почему? Да всё это — не моё. После обобществления скота крестьянину сделали милость — разрешили держать одну корову и ни-ни больше. Уж мужик нежил её, холил, уж кормил и поил, а она кормила семью да ещё и подкармливала гегемона. Идёт с пастбища стадо — набухшее вымя чуть ли не за дорогу сосками цепляется, молоком на версту пахнет. А у колхозной коровы вымечко с кулачок, сразу видно, что нет хозяина. Людей приучили работать помаленечку, получать понемножечку, подворовывать потихонечку. И ничего, живут. Дотягивают до пенсии. В горячее время перекуры да тары-бары. Колхозники выезжают в поле лишь часов эдак в десять. А фермер в это время уже наработался — он начал работу до солнца, потому что ночует в копне сена».

«Пишет Вам семья фермеров из дальнего сибирского села. Сам я агроном, всю жизнь посвятил земле, жена радиотехник и на руках 10-летний сын. Решили уехать в деревню и вести самостоятельное хозяйство. Выделили нам 16 гектаров — неудобницу. С чего начать? Продали что было ценного в доме, закупили семян, наняли технику, пер-

вый год мы отсеялись. Урожай получили по засушливому году, средний. Техники своей нет. Решили затянуть пояса потуже и купить трактор, взяли ссуду под большие проценты, трактор старенький купили. Но ведь одного трактора мало. А на остальную технику денег нет. А в этом году ещё хуже, по всей Сибири страшная засуха, руки опускаются, видя, как гибнет твой труд. Как жить дальше, бросить всё это, только это на радость нашему местному руководству, они таких, как мы, ненавидят, подбивают людей против нас. И становится страшно, как живёт деревня. Государственное — растаскивается, пропивается. Работать не хотят, зачем, легче украсть и пропить. А мы так жить не хотим. Я посвятил 30 лет агрономии и хочу видеть дело рук своих, хочу помогать деревне. Со своего первого урожая мы 3 тонны раздали людям, хоть самим было туго. Но такая тоска на душе, бьёшься как рыба об лёд, а толку мало. Мы знаем, что надо биться за лучшую жизнь для наших детей, но пока что не знаешь, как выбраться наружу самим».

«Моя нищая пенсия — это нарушение прав человека. В Чечне убивают сразу — это лёгкая смерть. А умирать постепенно от голода — это садистская смерть, устроенная нам сегодня. Эта постепенная смерть миллионов пенсионеров должна также подлежать судебному разбирательству как нарушение прав человека с издевательским оттенком. Почему об этом молчат наши правозащитники? Почему молчат об этом наши телевидение и газеты? Мой трудовой стаж 31 год. Ежемесячная пен-

сия за три последних месяца составила 38573 рубля, надбавка — 19700 рублей.

Итого: 58273 рубля!

Получила за январь 58273 рубля, из них:

- квартира (моя доля) — 10 тыс.
- электроэнергия (моя доля) — 5 тыс.
- телефон (аб. плата и переговоры) — 5 тыс.
- самые необходимые элементарные лекарства от хронических болезней — 15–20 тыс.

Итого: 23 тыс. 273 рубля!

Этих денег не хватает на двадцать дней, если покупать ежедневно только по одной бутылке молока (625 руб.) и одному батону хлеба (720 руб.). Но так сегодня. А что будет завтра — не знает никто. У нас во Владимире за последние два месяца сливочное масло подорожало в 2 раза, сахарный песок — в три раза и все остальные продукты питания в этих же пределах. Но об одежде, сливочном масле, овощах, мясе и рыбе — и думать не приходится. Что это, если не геноцид? Я бабушка, у меня двое внуков. Когда я смогу и смогу ли вообще угостить моих внуков конфеткой, стаканом молока, кашей? В средствах массовой информации постоянно утверждают, что денег нет только у того, кто не умеет и не хочет работать, но я честно отработала — почему тогда обрекают на такую пенсию умирать? И по какому праву внушают моим детям и внукам эту абракадабру? И кто это внушает такое обо мне — Гайдар, Чубайс? Мы, нынешние пенсионеры, платили налоги, а их поколение на эти налоги: бесплатно отдыхало в пионерских лагерях.

бесплатно училось в школе и в институте, бесплатно лечилось, бесплатно получало квартиры, бесплатно растило также вот уже своих детей, включая бесплатный детский сад. Почему ж они других теперь людей в России такой жизни, всего этого лишили? Почему же для наших детей, внуков должно было всё стать по мнению этих господ платным? Почему нам, старикам, начисляют они теперь, даже не пряча глаза от стыда, такую пенсию, на которую мы будем только умирать?»

«В июне 1992 года наш тогда ещё уважаемый Президент предвосхитил нас, что вступает в силу новый закон о Российской “Справедливой в полном объёме” пенсии. Но результат новоиспечённого творения просто ошеломил. Благодаря коэффициентам, которые были придуманы якобы для осовременивания начисленных ещё в советское время пенсий, в одночасье пенсионный потолок был превращён в пособие для бомжей. Меня гнетёт сознание того, что это моя страна унизила меня, растоптала, ограбила, перечеркнула мою жизнь».

«Война для меня закончилась в городе Будапеште (1080 зен. арт.полк). Кончилась война и нас выселили за пределы города, окружили заборами, поставили часовых. Кормить начали одной чечевицей. Ну, это ещё бы ладно, но дальше вот было что. В 1946-м отправили в город Харьков на Холодную гору — это был своего рода пересыльный пункт. Обманным путём сгрудили в одну кучу наши самодельные сундучки, затем стали по одному вызывать из

строю, класть перед офицерами на стол этот сундучок. И те как шакалы пошли шерстить под одну гребёнку. Полетел на землю нехитрый солдатский скарб: портянки, обмотки, гимнастёрки, сапоги, рубашки. Выросла целая гора тряпья. А нам и невдомёк, что это, оказывается, Родина-Мать вот так вот встречает своих защитников-победителей! Свершив постыдный срам, униженных и осрамлённых, погрузили в вагоны и, ничего не объясняя, этапировали на Дальний Восток. Расселили на Сахалин, Курилы, Камчатку. Там пришлось всем служить ещё пять лет, уже после войны. Лесоповал, стройка, и так каждый день. За семь-восемь лет службы для нас не было ни одного отпуска и даже ни одной увольнительной. Срок службы там для офицеров зачитывал год как за три. Для эсков на тех же работах тоже был льготный зачёт. А вот для солдат и сержантов так называемой “срочной службы” — а многие с войны уже по седьмому и восьмому годку тянули без отдыха солдатскую лямку — зачитывали на лесоповалах год за год. Никакой вины не предъявляли, ни с какими приказами не знакомили, а держали на положении эсков по семь-восемь лет, да ещё прошедших войну. С этим смирились тогда... Но вот дожил до пенсии — и тот же расклад. Самая ущемлённая и униженная категория пенсионеров — трудяги. За спиной сорок лет труда, как ветерану войны, плюсуют одну минимальную пенсию, и всё равно, оказывается, зачитывают по-прежнему как людям второго, третьего сорта именно солдатам. А кому о нас хлопотать? Комитеты ветеранов всегда возглавляют только бывшие генералы. И эти наши радетели за всю

свою деятельность за улучшение пенсионного дела бывших солдат нисколько не порадели. Снова нужнее не мы, а бывшие чины, начальники. Солдат — он всегда на переднем крае был, он войной надорван, изранен, и его здоровье теперь хуже всего. А пенсия рядового и сержанта в 3–5 раз меньше пенсии офицеров и генералов. Пенсию им, в отличие от нас, выплачивают в сбербанках, подальше от посторонних глаз. Значит, власти знают, что делают, взвесили всё, как взвешивали и тогда».

«То, что происходит сейчас у нас в России — убивает во мне всякую надежду на будущее. Дело не в том, как я питаюсь, нет. Опустошение души человека и общества в целом — страшные явления наших дней. Немножко о себе и своей семье: я и жена пенсионеры, живём вместе с сыном, невесткой и внуком в доме “хрущёвского типа”. Работал формовщиком литейного цеха, потом заточником на алмазных кругах и абразивах. Пошёл на пенсию в 1987 году по вредности с 55 лет. Назначили мне пенсию хорошую — 132 рубля. Я даже гордился оценкой моего труда, а теперь эта моя гордость превратилась в нищенскую пенсию с тремя нулями. Живём, не голодаем. Выручает кусочек земли за городом. Только вот частенько болеть стали — литейка напоминает о себе. Вот и всё, что я хотел рассказать о себе. Страшнее всего — неизвестность. Почему бы не сказать народу: что, когда и как, в какие сроки будет делаться в стране и каков будет предположительно результат. Пройдёт много лет, возможно, несколько столетий, капитализм уйдёт в историю, как ушёл

в историю и феодализм. На смену ему придёт совершенно новый, действительно народный общественный строй на всей Земле. Я в это верю».

«Тысячи детей живут в колодцах, трубах, крысиных подвалах, на кладбищах и свалках не от хорошей жизни, а на питание они достают себе воровским способом. Я живу во Владивостоке. У нас теперь судят и сажают по большей части несовершеннолетних. По полгода сидят в СИЗО, где их бьют, а со слов родителей, издеваются и вешают, чтобы скрыть улики. Почему уголовный кодекс даёт право 14-летних оступившихся подростков содержать с уголовниками и насильниками в общих камерах? Они ведь там беззащитны, и получается, что мы заживо убиваем голодных больных и глупых детей в тюрьмах, во всяком случае доводим их до этого или способствуем несовершенностостью закона. В условиях социальных проблем их лишают нормальной жизни дома, в интернате, зато в объятия принимает тюрьма за воровство жвачек, шоколадов, пирожных, сигарет. Нет нам всем прощения за это. Это тоже репрессии, только детские, против святая святых — детей. Миллионы загубленных детских душ, которые можно было без особого труда спасти...»

«Вы бы видели, как в Томской области везли стельных коров на забой в мясокомбинат, которые телились прямо в вагоне, и новорождённых телят выбрасывали из вагона — а поезд шёл дальше... Многие из нас, участников войны, сейчас потеряли стержень в жизни. К нам опять пришла бе-

да. Старые солдаты достали свои гармошки латаные-перелатанные — сохранили их ещё с военных лет — и играют перед народом, а в ногах лежит картуз “кто сколько может”...»

«В одиночку мы ничего не можем сделать. Нас никто не слушает. В институтах, так называемых “научных”, мед. учреждениях, в том числе: институте вакцин и сывороток, институте мозга, институте высшей нервной деятельности, на животных и в первую очередь на собаках, обезьянах, кошках проводят так называемые эксперименты, а попросту говоря — пытаются. На них практикуются не столько так называемые “врачи” — будущие учёные, у которых и души нет, но и начинающие студенты. Совершенно здоровым животным делают “операции” на органах: студенты и “врачи” отрезают половину кишечника, желудка, выкалывают глаза, ампутуют лапы, делают электрическую стимуляцию мозга, а после этого безрассудства уходят из этой камеры пыток, оставляя собак, кошек с полуотрезанными органами, с открытыми ранами в лужах крови, на выживание. Животные после наркоза начинают приходить в себя и вот с этого момента испытывают настоящие пытки. Эти несчастные покалеченные животные стонут, визжат от изнуряющей боли, а медперсонал на всё происходящее смотрит сквозь пальцы. Ничего эти садисты-выродки не желают знать. Выживут — так выживут, не выживут — пусть подохнут. Санитарки говорят: “Это обычное дело: собак складывают в шахту неработающего лифта — пока не умрут”. И всё это происходит в наше время, да-

же в таком институте, как институт усовершенствования врачей, а институт мозга — очень страшный институт. Животные в такой стране, как Россия, не защищены ни на йоту. В Госдуме всё не могут поделить власть. Деятельность вивариев никак не контролируется».

«Не знаю, ответите Вы мне или нет, ведь Вы высоко стоите, а кто я? Просто смертный, которых тысячи находятся за колючей проволокой. Я нахожусь в “местах лишения свободы”, на “особом режиме”, в местах этих нахожусь уже не в первый раз. Как попал в это болото первый раз в 14 лет, так до сих и не могу с него выбраться. Я никого не виню в этом, что толку сейчас искать виноватых, ведь жизнь пропала и ничего назад не вернёшь. Мне сейчас 34 года, в марте будет 35 лет, остался совсем один, ни родных, ни друзей. Что такое семейная жизнь, семья — вообще не знаю. Да и многого чего не знаю. Все эти годы провёл за колючей проволокой, и выходить мне отсюда через семь лет. Вот и получается, что жил, что не жил. То, что я матёрый бандит, я бы никогда этого не сказал, не был я ни в каких бандах, просто уж такой несчастливый человек и это вечное клеймо “ранее судимый” — не давало никакого житья. Такие сроки, за такое ну вот как хулиганство — это всё равно что тот же террор. Сколько людей простых пересажали за одно выбитое стекло или за “оказание сопротивления милиции”? Может, тоже когда-нибудь поставят памятник — жертвам “хрущёвского террора”, “жертвам брежневского”... Ведь сейчас я сижу только за то, что ранее был судим.

Дали 10 лет, признали особо опасным рецидивистом — а за что? За то, что сами ж пацаном отправили в этот мир. И осуждают таких, как я, внаглую. Ведь раз сидел уже — чего и доказывать. Что поделаешь, нужен был хороший адвокат, а адвокату нужны хорошие деньги — а где мне их было взять? В общем, всё это позади, а впереди снова годы и годы заключения и их надо сидеть, надо выжить, ведь здесь, в колонии — это не жизнь».

«Пишет вам человек совсем неизвестный из глубинки Сибири. Почти половина жизни прожита, а судьба не удалась — одни страдания. Молодой во всё верил, всему внимая, к чему стремился, но бывают моменты, когда вышибает жизнь земная из колеи. Может, я виноват во всём, а может, судьба такая. Мы должны платить за наших дедов, отцов: мы озверели в буреломе событий. Я работал: монтажником, плотником, а теперь “истопником”. Шикарная специальность топить печки зимой в школе, хотя почётная, чтобы дети не замёрзли. В детстве я маленько увлёкся стихами, писал для себя. Безумно был влюблён во всё прекрасное, вечное... Зачем писать о мерзостях тюрьмы. Десять лет, то есть уже более, нахожусь на свободе, и мне дико слышать по телевизору: заложники, рэкет, стрельба. Я возмущаюсь чем — они именем закона детей судили за килограмм конфет по три года. За три рубля давали восемь лет. Желали исправить битьём, пинками, тычками, а теперь крадут сами сотни миллионов и им — освобождение. Мне с детства изломали, исковеркали жизнь. Никому нужны мы не были! Бумажный отчёт о воспитательной ра-

боте. Хоть бы один нашёлся увлечь в другую сторону душу! Нужны сейчас эти души! Они отплатят безмозглым дядям той же монетой! Пьянство в деревнях стало нормой дня. Какая нищета! Вот и говорят: болей душой за себя, а я не могу жить иначе. Я помню, в 59-м году жили в деревне, в Серове недалеко, в бараках в маленькой комнатёнке — семь человек и были по-своему счастливы. Люди были добрей, отзывчивей. А сейчас душит зависть. Почему он? Почему не я живу лучше? Вот и упирается в это. Но я согласен, человек наш талантлив, а его обкорнали. Он должен жить — и купаться в лучах славы. А его бессовестно обирали свыше и кидали подачки. Русский тем счастлив, если его Родина в величии. Плохо или ещё хуже живётся, но Родину мы любим каждый по-своему всем сердцем».

«Пишет вам человек нелёгкой судьбы из мест лишения свободы, решил обратиться к вам за маленькой помощью... Дело в том, что в первый раз попал по молодости, ну а в данное время сижу, то есть отбываю срок наказания в возрасте. Семья разрушена, родственники умерли, и помощи ждать не от кого, да и работы нет в колонии, чтоб можно было заработать и отовариться в магазине. Да и колония стала в настоящее время убыточной. Даже по приходу в колонию администрация не в состоянии одеть, обуть вновь прибывших».

«В сорок первом добровольцем ушла на фронт, на все четыре года страшной войны спасти жизни раненых бойцов. И вот пришла перед самой смертью казнь. В моё отсутствие разграбили, изу-

вечили мой маленький дом. Я не могу восстановить даже такую бедность, в которой ещё можно жить, зайти на ночлег. Я не могу жить и погибаю от страданий и беспомощности. Вы увидите великих, богатых, скажите — помогите защитнице Родины. И никто не откликнется, а как будут встречать Праздник Победы!»

«У меня 1,5 почки из-за рака удалили, но лекарств нет. Экспертиза показала, что рак у меня от действия радиации, значит, от взрыва на заводе “Маяк”. Радиация косит нас — вот откуда смертность. Дети, если у нас рождаются, тоже больны. Ради бога! Бейте в набат!»

«Уже года два как я пришёл к выводу, что в ближайшие годы нас ожидает добровольный ГУЛаг всей страны, когда мы сами устремимся в Сибирь и на Север на лесоповал...»

«Я трижды голосовал за Ельцина — теперь об этом с горечью говорю...»

Пишет пенсионерка З.Ю. Синютина из Москвы и участница ВОВ Зинаида Захаровна Кучеренко из посёлка Красногвардейское Белгородской области, инвалид II группы Леонид Константинович Родин из Орла, школьный истопник Виталий Кириллович Волошин из деревни Большая Заморозовка Нижнетавдинского района Тюменской области, фермерская семья Рыжовых из деревни Дехановки Бейского района Хакасии, рабочий-строитель Гарик Глебович Арутюнян из Абакана, ветеран

ВОВ Александр Филиппович Самойленко из Волгограда, журналист Евгений Голоднов из Орехово-Зуева, Людмила Ильинична Колесникова из Владивостока, колхозная пенсионерка Ромашова Анна Яковлева из Нижневартовска, Петелин Борис Николаевич из Липецка – бывший заключённый политических лагерей, старший инженер инструментального завода Козицкий Виталий Дмитриевич из Хабаровска, неработающий пенсионер Виктор Антонович Артемьев из посёлка Невская Дубровка Всевожского района Ленинградской области, из деревни Гора Сипягина Ярославской области – биолог и фермер Анатолий Сергеевич Агальцов, глава коллективного крестьянского хозяйства из Волгоградской области Владимир Егорович Сугатов, пенсионерка Л.А. Бултова из Владимира, любители животных семьи Дороховых и Соколовых из Москвы, инвалид от радиации II группы, живущий в Екатеринбурге, фермер из Воронежской области Николай Александрович Подрезов, предприниматель из Пятигорска В.А.Третьяков, коренной липовчанин и гражданин России Иван Секирин, ветеран войны из Томска Георгий Петрович Костарёв, пишет экономист Анатолий Петрович Солонин из Твери, пишет инженер-аэродромщик Дмитрий Сергеевич Моисеев из подмосковного Жуковского и некто Ю.Г. Варенков из Йошкар-Олы, а также заключённый спрятанной за Уралом колонии общего режима Владимир Николаевич Пустовалов и заключённый колонии строгого режима Кузьминов Сергей, отбывающий наказание в посёлке Чинья-Ворык Республики Коми... Россия пишет.

Даты на почтовых штемпелях — ни одной исторической... Всё написано до 1995 года. Бумага пожухла. Мог родиться и подрасти за эти годы ребёнок. Человек. Но, читая письма теперь, думаешь: смогли авторы их выстоять или нет, выжили ещё и эти несколько лет? Почему пишут всё больше старики? Пишут те, кто болеет, недоедает, чувствуя приближение конца, — кто обречён в первую очередь, и вот в этих письмах ещё судорожно хватаются за жизнь, как если бы молят, чтоб их спасли. Молодёжь, конечно, далека от ощущения конца. Перед краем жизни стоят рядами ещё два, три старших поколения, а молодые свободны выбирать, кем быть, сильны и здоровы, многим довольны и, как водится, думают про себя, что та же участь их не коснётся. Обречённые на позорное существование, пожилые люди ищут в последнюю минуту осмысленности, надрывно в последнюю минуту возвращают отнятое достоинство.

В каждом обращении человека есть своя болевая точка. Политики, социологи, экономисты врачуют болезни, понятие о которых имеют только сами больные, самое ясное да пронзительное — через боль. И вот лечат человека, а ему ещё больней. Обещают вправить вывих, а он орёт — руку сломали. А стонущих от боли окружают презрением: «деградировавший человеческий материал», «население низкого качества» — словом, недочеловеки, нелюди, не достойные потраченных на них лекарств.

А Россия в образе и подобии живых людей давно всё знает о своей болезни. За каждым стоном, проклятием – осознанный вопрос. Так что обратная сторона русских писем – это беспощадный диагноз общественного состояния России, поставленный её собственным народом.

Все принятые за годы реформ решения так или иначе входили в противоречие с образом жизни реального человека, так что сами люди с их уже укоренившейся психологией оборачивали преобразования во всех областях в хаос, но это и доказывает, что надо было следовать путём постепенных психологических перемен как в экономике, так и в общественной жизни. Подобное катастрофическое преобразование самой реальности, всё равно что среды обитания, обрекало человека только на борьбу за выживание, как и животное, когда не приспособливается к новым условиям существования, не выживает («а на нижние этажи они и не смотрят, хотя, как ни странно, все, без исключения, заявляют о стремлении создать нормальную жизнь для нижних этажей»), – а способны выжить оказались в большинстве люди аморальные, стремящиеся к обогащению любой ценой и на любых условиях: взяточники, уголовники, казнокрады и тому подобные.

Обречённые на борьбу за выживание, на приспособление к жизни в насаждаемых условиях, люди живут соответственно как могут, а не так, как должно жить по совести и даже по закону («А пока каждый живёт как может. Даже у бюджетного чиновника жить получше существует одна

возможность — брать взятки. Раньше мы почти не слышали об этом. Сейчас же это происходит сплошь и рядом, вверху и внизу. В этот процесс сегодня втянуты даже простые труженики»). Когда на производстве, где все оклады, ставки, тарифы десятилетиями устанавливались централизованным порядком, а сбыт даже невысококачественной продукции — гарантирован тем же Госпланом, было в одночасье отменено государственное управление и отпущено всё на свободу, не подготовленные ни морально, ни технически к подобным резким переменам рабочие, инженеры, директора оказывались именно ни к чему не способны, так что промышленные предприятия обрекались тем самым только на крах («Теперь же узаконили крутую самостоятельность. В этом ошибка наших государственных мужей. Надо было вводить эту самостоятельность медленно — по мере привыкания к ней, по степени готовности работать по новым требованиям»).

То же с обрушившейся в одночасье политической свободой — люди оцепенели, не зная, кому, а главное — во что верить («десятки партий и движений, и десятки идей, в которых и сами организаторы порой не разбираются»). Когда была одна партия и одна идеология, человек в конце концов что-то мог понять. Но в анархии новых идей и партий уже мало что поняли, голосуя неосмысленно, естественно просто за лучшие обещания, а обещания лучшей жизни опять вырождались в демагогию, оборачивались обманом, ведь за исполнение своих обещаний ни политики, ни партии, придя к власти, ответственности не несут,

руководствуясь в своих действиях уже только политической конъюнктурой («Сейчас не знаешь, кому верить, за кем идти. А может быть, это специально партии и движения плодят, чтобы окончательно запутать всех и вся?»).

Замороженные и обманутые люди не хотят участвовать в выборах своих политических законодателей — они просто неспособны уяснить уже, в чём же суть предлагаемых выборов, чем одни партии отличаются от других, а безразличное отношение людей к политической жизни освобождает политиков от ответственности окончательно. Главное разочарование — одни стремительно обогащаются, другие же стремительно нищают, и так становится понятным, что одни обогащаются за счёт других («Нет места на земле, где бы жили, без исключения, одни богатые. Богатые появляются лишь там, где основная масса беднеет и нищает. Противостоит естественно думать, чтоб богатые, у которых все мысли и действия направлены на то, чтоб богатеть, оглядывались бы в сторону беднейших и смиривали свои аппетиты, никого бы хотя б не разоряли»).

Люди, в общей массе своей не стремящиеся к обогащению и живущие воспитанными за десятилетия представлениями о необходимом достатке и социальной справедливости, лишаются возможности прожить сносно только на зарплату и всех социальных гарантий, понимая теперь своё существование как угнетаемое — обнищание же, чувство угнетенности всё необратимей порождает в людях равнодушие и к труду, и к оставленным за ними самым общим да демагогическим

«демократическим правам», к тому же праву на свободное волеизъявление.

Выборы в России обеспечивают победу тем, за кого бы большинство населения не проголосовало, потому что голосует и решает исходы выборов маргинальное меньшинство — а на выборах в местную власть достаточно уже и 25% от всех голосов избирателей, чтоб выборы были признаны состоявшимися, тогда как неявка на избирательные участки оставшихся 75% есть такое же волеизъявление гражданское, обнаруживающее истинное отношение граждан к предложенным им на выбор кандидатам, а в ещё большей мере — к самой нынешней безликой избирательной системе. Притом выборы в органы власти районов, областей, городов отданы на откуп местным администрациям — формирование избирательных комиссий, недопущение наблюдателей открывает широкий простор как для предвыборных махинаций («Даже так: выборы в рабочий день. Отпускали с полдня с условием: обязательно проголосовать — проверим! Надо было набрать квоту. Удивительная квота, когда менее 10% населения определяют власть для всех»), так и для фальсификаций уже результатов выборов («Администрацию не беспокоит, за кого проголосуют, — опыт фальсификаций уникальный: в Липецке больше года длится процесс о фальсификации выборов губернатора в начале 93 года — и вряд ли конец»).

Всё так оболгано за эти годы, что голосовать уже долго не пойдёт именно решающее большинство — это 25–40-летние, для которых выборы теряют смысл, так как эта часть общества, и долж-

ная быть социально-активной, уже ни во что и никому не верит — и настроение потому почти безнадежное. Разочарованное же большинство толкает власть в объятия жириновщины, баркашовщины, зюгановщины («а также ещё типа Мавроди — мошенника вроде...»).

Приватизация в России произошла не в интересах рабочих: они не понимали даже её сути. И не в интересах производства: управляющий завода назначался чиновниками от Госкомимущества и оказывался им временный, пришлый человек, который даже зарплатой не зависел, как рабочий, от состояния производства, отчего и выгодней становилось просто сдавать помещения из-под остановленного, разрушенного производства в аренду, а рабочие безропотно голосовали за все решения новой заводской администрации, боясь увольнений за свои питейные грешки. Рабочих не увольняют, но и не платят заработной платы — не увольняют, чтоб не платить пособий по увольнению. Взыскание долгов по суду — начало бюрократической волокиты, которую рабочий человек, не имея средств на помощь юриста, редко когда осиливает до конца («суды занимают волокитой по отношению к нам — рабочим, то им не та бумажка, то подпись не та»). Состоянием приватизированного завода и судьбой рабочих не интересуются краевые власти — губернатор, краевая Дума освобождены от ответственности и брать её на себя добровольно уже не хотят. Профсоюзное движение, как ещё одна законная форма защиты рабочими своих трудовых прав, лишилось смысла, если завод не приносит прибыли и его админи-

страция вовсе не заинтересована в рабочих. Профсоюз уже в самом абсурдном виде превращается на заводе в пособника администрации («На заводе остался один член профсоюза, она же председатель профсоюза, она же начальник производства»). Если завод стоит, то рабочие лишаются не только средств к существованию, но и медицинской страховки, так как оплачивать её должно неработающее предприятие. Совершенно обречёнными оказываются те, кто проработал на заводе по 20–25 лет — если все, кто ещё здоров и в силах, увольняются и устраиваются на новых местах, то для рабочих предпенсионного возраста, которых и большинство, увольнение равносильно потере трудового стажа, он прекращается, когда человек увольняется с завода и не находит в течение ближайших месяцев нового места работы, а пожилых-то нигде и не принимают на работу («Пытался найти работу. Годы пенсионные — а надо только молодых. “Ты что, спонсоров ищешь, когда дуба дашь” — вот такое можно услышать из уст отдела кадров, да ещё от женщины»). В конце концов рабочий человек, как таковой, оказался выброшен из жизни («У нас в городе весь транспорт с 1 марта переходит на коммерческий уклон. А я как смогу купить билет в автобусе, трамвае, троллейбусе? Где я возьму такие деньги?!»).

Если на рабочих или инженеров ещё можно будет выучить, возрождая промышленность, то разруха долгая в сельском хозяйстве пускает на убыль даже не урожаи да надои, а само русское крестьянство — деревенский человек отвыкает от крестьянского труда, научить же кормиться от земли, на-

учить работе на земле почти нельзя, ведь земля это не станок, а живая почва, равно как земледелие — не производство, а могущая быть утраченной культура пользования землёй, требующей разного отношения в разных краях и условиях.

Крестьяне живут на земле — и если в городах легко найти себе новое применение, получить новую профессию, устроиться на другую работу, то безработица в крестьянских хозяйствах, их разорение влекут за собой последствия одинаково катастрофические — исход из деревень, беспробудное пьянство (вырождение уже физическое). Русская деревня заколочена наглухо в гробовое молчание — о миллионах людей не вспоминают в СМИ, даже в пору страды или посевной.

Крестьяне беспомощны перед заказчиками — будь то заказчик коммерческий или государственный, — которые могут не выполнить договор или не заплатить, но притом их не объявляют за это банкротами и денег с них за ущерб или долги не взыщешь. Зато если совхоз, разорённый своими заказчиками, не расплатится по банковскому кредиту, то его объявляют банкротом и распродают всё имущество. Кабальные формы кредитования сельских хозяйств таковы, что ускоряют их банкротство. Сдаётся в залог под кредиты техника, скот — сельхозимущество, с распродажей которого крестьянам уже ничего не остается делать на земле, как и земля остаётся никому не нужной.

Банкротства коллективных хозяйств подобны поджогу кораблей, но бежать с этих кораблей потерпевшим бедствие колхозникам уже некуда и не с чем. Хотя крестьяне могут получить в аренду

с правом залога земельный надел и выйти своим паем из того же колхоза целыми да невредимыми, но не выгодно выходить даже из таких, обречённых на гибель колхозов, так как существование с теми же кабальными банковскими кредитами в одиночку будет ещё бедственней. В сельском хозяйстве царит тот же хаос, что и в промышленности. Экономическая самостоятельность при советских способах хозяйствования придушена налоговыми поборами, неплатежами, инфляцией. Директорский корпус научился не работать, а паразитировать на разрухе. Наёмные рабочие, колхозники брошены государством — которое их когда-то нанимало да содержало — на произвол цен, заказчиков, директоров.

Правительство объявило курс на создание фермерских хозяйств, дало начальную свободу и льготы — право на аренду земли, льготное кредитование, но, когда движение стало массовым, тоже бросило его на произвол судьбы. Фермерское движение, набирающее силу, должно было естественно потеснить в России чахнувшие коллективные хозяйства — перенять у них землю, технику, после чего со всей неизбежностью вставал бы вопрос о частной собственности на землю. Чиновники согласны были в начале реформ в сельском хозяйстве поощрять частника. Но отдать ему в собственность землю, подчиниться его интересам были уже не согласны. В их интересах — поддерживать на плаву требующие громадных дотаций неэффективные коллективные хозяйства, потому что чиновник сам точно так же паразитирует на дармовых бюджетных средствах и желает

к тому же не служить чьим-то интересам, а управлять, исходя только из своих, бюрократических.

Фермер получил землю худшую из худших, притом за арендную плату, назначаемую не из расчёта, плодородна земля или нет. У него нет всей необходимой техники. Проценты по банковским кредитам так велики, что их нет смысла брать — если берёшь кредит, к примеру, на покупку трактора, то выплачивать после по процентам надо вдвое больше, чем стоил этот трактор. Фермерские хозяйства, поставленные в неравные условия с колхозами, даже несмотря на то, что фермер заинтересованней колхозника в конечных результатах своего труда, побеждаются в России, и доказательство этого поражения — уже массовый исход из фермерского движения когда-то увлечённых реформаторскими посулами трудолюбивейших, знающих людей.

Страна новая, а многие законы остались от старых времён, но действие их оказывается куда более жестоким именно потому, что новая реальность куда жёстче, чем советская. Так не претерпел изменений в отношении подростковой преступности уголовный кодекс, но за это же время изменилось очень многое, притом по существу. Новые реалии — беспризорные дети, массовая безработица у молодёжи и неизвестные до этого виды детской преступности — детская проституция, воровство как единственный способ выживания (у беспризорных детей), вовлечение малолетних в преступления, не ими продуманные и не естественные для их возраста — по сути, организация детской преступности теми, кто использует

правовое освобождение детей в возрасте до четырнадцати лет от уголовной ответственности в своих преступных целях, руководя их действиями. Инспекция по делам несовершеннолетних способна осуществлять в их отношении только милицейские, карательные функции, тогда как прежде ей вменялась в обязанность работа по исправлению трудных детей и подростков: вместо устройства досуга и отдыха для детей и подростков — расширяют колонии и тюрьмы.

Но кое-какие законы в России всё же принимаются... Размер пенсий и надбавок, утверждаемый в Российской Федерации всеми ветвями власти как закон, — есть законодательный акт, который прямо обрекает инвалидов и пенсионеров на физическое истощение и, по сути, лишает нетрудоспособных по старости или по состоянию здоровья людей права на жизнь. Сегодняшняя пенсия по инвалидности или по старости — это закон, чисто исполненный в юридическом отношении и подогнанный под конституцию, так что в нём не содержится никаких противоречащих ей или другим главнейшим государственным законам формулировок. И только действие всякого закона обнаруживает его истинное содержание — и в этом случае оно оказывается составом преступления, но за доведение человека до голодной смерти или самоубийства не может быть осуждено само государство, разве только морально, судом общественного мнения, которое юридически также не в состоянии ничего обжаловать, поменять. Такой закон — это государственный приговор в России всем немощным и слабым.

Непомерно низкая пенсия за всю трудовую жизнь («идём к концу жизни, а люди и не жили по-человечески», «пенсия как будто до копейки высчитана, а как жить, как там считали, если даже слуху не хватает»).

Когда переводят человека на положение инвалида и устанавливают состояние («инвалид от радиации», «инвалид по зрению», «инвалид детства») и группу инвалидности (степень тяжести), то такая категория, как «причина инвалидности», не берётся в расчёт. О «расчёте» говорить здесь уместно, так как размер пособия рассчитывается у нас только из суммы потерянной трудоспособности, но притом не учитывается, по чьей вине потерял здоровье человек — по своей собственной, от рождения, по вине физических лиц или самого государства, — и оказывается, что в наших условиях именно государство, делая инвалидами своих граждан, не несёт за них какой бы то ни было серьёзной ответственности. Человек лишается по вине государства, на государственной службе здоровья — а государство только и решает, дать ему рабочую группу инвалидности или не рабочую, платить поменьше или побольше, хоть ясно, что чернобыльский ликвидатор — это, для примера, не разбившийся на своей машине автолюбитель.

Потеря трудоспособности — есть показатель обший, но в нём не учитывается та степень ответственности, которую несёт государство, если посылает своих граждан в приказном порядке на войну или тушение горящего атомного реактора. В XIX веке в России, при царском правительстве

был институт *инвалидов* – имелись в виду именно те, кто утратил здоровье на государевой службе. Вместо персональных *государственных пенсий* инвалид армии, ветеран боевых действий или черныбылец сегодня получает паршивый клочок – пресловутые *льготы*, не имеющие никакого денежного выражения, льготы, которые ещё должен сам же потрудиться реализовать. Персональные же государственные пенсии получают у нас те – и это не злая шутка – кто руководил государством, а также народные депутаты, генералы и прочие особо ответственные государственные деятели.

Общественные болезни, страдающие люди – страдающие по чьей вине? «Кто виноват?» – тоже русский, сущностный для нас вопрос. Но почему всегда спрашивалось «кто» и в умах засела мысль только о чьей-то персональной вине, а как собственно общественный, гражданский русскими этот вопрос так и не задавался? Ведь так – это вопрос мести, наказания. Мы ищем не виноватых всю свою историю – а уже будто бы наказанных, чью вину даже не надо доказывать. Это подспудное желание снять ответственность за происходящее с себя и ещё более естественное побуждение всех страдающих – не отыскать источник страданий, а выплеснуть их куда-то, на кого-то, чувствуя если не освобождение от боли, то осмысленное торжество собственной правоты.

Ну, а кто виноват, чьи головешки на выдаче-то в России теперь? Тех, кто принимает да исполняет государственные решения: «партия начальства», «президент», «администрация», «правитель-

ство», «кто поднаторел в упражнениях с народом», «южане», «Ельцин и ему подобные», «законодатели и надзиратели», «директорский корпус», «Горбачёв», «банк», «государство», «заказчик», «господа», «ультра-большевики, сделавшие из России ГУЛаг», «Дума», «дармоеды», «инстанции», «государственные организации», «сионисты»... Если обвиняют инородцев или нуворишей, то обвинения звучат лишь с тем же смыслом — «правят нами». Если бы не правили — то и не были б виноваты. Но почти тут же зовут править собой других — «честных», «непродажных». Людей озлобляет благополучие власть имущих («сосут кровь из народа», «уничтожают народ»). Извлечённые из личного опыта уроки в своём большинстве унылы, рождают в людях только ощущение безысходности. «Я не понимаю эту демократию, если всё делается для уничтожения народа», — сознаёт человек. Или думает с тоской о прошлом: «Раньше хоть что-то можно было доносить до людей — я занимался просвещением, работал на сельскую местность, писал для сельских детишек, был всё время с ними». Обманутый не раз и не два, человек крепче всего научен не доверять и понимает со всей ясностью только новейшую эту формулу обмана: «обещали справедливость, борьбу с привилегиями власть имущих, а устроили общество ещё более несправедливое и взяли себе привилегии, какие не снились начальству партийному, даже при однопартийной системе в стране — значит, коммунисты были честнее и справедливей к людям, чем те, кто призывал бороться с ними и получил власть в стране».

А меж непониманием настоящего и тоской по прошлому встревает уже волевое решение ни в чём общественном не принимать участия: «Кто нам поможет? Чёрт его знает. Даже люди наши говорят — голосовать больше не пойдём, всё равно по-нашему не будет».

Но что же тогда делать?

Тем, что ожесточились, притягательно лишь одно: «все привилегии снять, дачи под квартиры, солдаты пусть служат народу, а не охраняют этих гнид» — они не видят иного будущего ни для себя, ни для тех, о ком не могут думать без ненависти.

Рабочему по-прежнему притягательны государственный заказ, план и сбыт, но тоже затаил мыслишку о директорах с жирнейшими их окладами, так что, наверное, самое важное для рабочих: «оклады директоров предприятий и представителей любых ветвей власти хоть соотносить с зарплатами рабочих и доходами населения».

Крестьянин знает свои нужды точно и мечтает только о земле: «земля должна перейти в собственность без всякого выкупа, целевой кредит должен быть льготным и даваться в рассрочку на десять лет, освободить крестьянина от бюрократических пут, особенно по налогообложению — взимать надо один ясный простой налог с земли, а не с десятков заумных налогов, который крестьянин мог бы раз в год заплатить, чтоб на всё оставшееся время без риска уже рассчитать свои доходы и расходы».

Люди, ещё увлечённые игрой в политику, видят нужду в том, чтоб «формировать власть по другим принципам».

Интеллигенты рассуждают по-интеллигентски и нуждаются в новых подходах к решениям острейших экономических проблем: «У нас же огромная армия грамотных экономистов. Уверен, не глупее зарубежных. Им бы всем свои силы и знания направить не на споры между собой, не на доказательства своего умственного превосходства, а собраться всем вместе и в спокойной обстановке, начиная с самого низу проанализировать материально-экономическое состояние в России, не надеясь на богатого дядюшку».

Пенсионеры — протестанты самые упрямые. Государство должно отдать им заслуженное, заработанное — и это его дело, каким способом отдавать долг. Поэтому так сильна обида на государственный аппарат: «ликвидировать институт представителей Президента в областях Российской Федерации, так как они не имеют реальной власти, но их содержание обходится налогоплательщикам в очень кругленькую сумму»; «привлекать к строжайшей уголовной ответственности за нецелевое использование средств налогоплательщиков»; «в госаппарат должны попадать соvestливые профессионалы».

Нужно людям, оказывается, самое малое: получать пенсию, соотнесённую с ценами на продукты и товары первой необходимости; иметь работу и получать заработную плату за свой труд, достаточную для пропитания себя и своей семьи; вернуться когда-нибудь к своим любимым занятиям — писать книжки или учить детишек любви к природе; надеяться на помощь в той беде, с которой в одиночку хозяйство уже не справится

и может только погибнуть; чтоб власть имущие испытывали к людям с малым достатком, к беднейшему населению страны уважение и не внушали бы обществу, что бедняки теперь — это тунеядцы, что бедность — это их собственный порок... Так-то мало нужно русскому человеку для счастья! Так-то близко оно должно быть, малое, неприхотливое, почти как у сироты! И молит человек надрывно, немощно, всей страдающей душой... но только какого ж спасителя?!

«Помогите всем русским!»

«Сделайте что-то полезное для народа, идём к концу жизни, а люди и не жили по-человечески!»

«Замолвите слово в защиту фермера!»

«Посетите страну детского подземелья!»

«Спасите как-нибудь село, ведь село погибло!»

«Помогите несчастным животным!»

«Ради Бога! Бейте в набат!»

СУЩЕСТВО ВОПРОСОВ

Человек, которому так немного надо для счастья, несчастлив может быть только по какой-то невероятной причине. Но просят ведь за редким исключением только для себя, а не для ближнего, потому как и просят терпящие то или иное бедствие. А мало-мальски благополучный человек коростой покрывается в своём благополучии и к состраданию не оказывается способным, потому что одно на уме и в душе: я своё за служил, ну а другие, значит, не заслужили.

Будь начальник или подневольный человек — всё и всех обкорнал бы под одну гребёнку. Россия — страна начальников и подчинённых. Отсутствие свободы органично, как органично оно в армии, где главенствует один на всех приказ. Приказ обязательный для всех к исполнению — что прокатывается, стучая по головам, от самых верхов и до низов. И всё счастьешко, кто бы ты ни был по званию, можешь только выслужить. Отсюда — забюрократченность наша кромешная, подобная войсковой канцелярщине, отношение к человеку бездушно-уравнивающее, знающее лишь две оценки — «годен», «не годен», а также и всегдашняя наша гигантомания, лозунговщина, страсть всякую борьбу с чем-то превратить сразу же в «кампанию по борьбе». И при царях и при вождях — всё пропитано именно этим казённым духом. В мирные времена ещё терпима в этом духе жизнь. Ну, а если немирные наступают времена, если Россия воевать начинает сама в себе или втягивается в какую мировую — гора из черепов растёт до неба, каждую пядь каких хочешь завоеваний покупаем человеческими жизнями, да притом за ценой-то не постоим никогда: надо угробить для светлого будущего миллион — угробим! надо угробить два — угробим два! Пуля, которой убьют, будет подороже жизни того, кого ею убили. И на войнах клали людей без счёта — как подешевле.

Готовность к жертве изначальна, как порыв христианский — постоять за свою веру, не дать оквернить святынь своей веры. Русские в средневековье своём — это богоносцы. Крестовым тевтонским походам или варварским нашествиям

на Русь русский отвечал святой войной: святой — значит с мукой за веру, с подвигом за веру, без раздумий, спасёшься или нет. Из этой голубки русской жертвенности, ставя нацию под ружьё, уже Российская империя выковала своего орла. Русские любили и любят родину жертвенно, готовые гибнуть под её стягами даже на стенах Измаила да тонуть в греческих морях. Но уже не сам русский человек свято приносил свою жизнь в жертву во имя веры да отечества — а ею, жизнью его, стали распоряжаться как медной копейкой, приносили в жертву каким хочешь замыслам своим, даже прихотям: дающий был превращён в обязанного, а жертва человеческая — в дань.

Безраздумье русского человека позволило этому случиться. И после именно своим умом и не позволяли ему жить. Всё за него решали, а чуть какое своеволие — кнутом, батоном, шпицрутеном... А кто живёт не своим умом, не своей волей — тот ведь и не живёт, а служит. А где служат — там и прислуживают... А где приказывают — там и помыкают, угнетают... Два рода человеческих, ненавистных друг дружке, у русских выпестовалось: Высший Чин да Низший Чин. И у низших и у высших один закоренелый навык — наказать. Начальник найдёт виноватого и накажет, конечно, среди низших, поборов не постыдится, наживаться будет на их-то горбу. А низшие тоже найдут виноватого и будут жаждать наказать, конечно, его паскуду, Начальника — «партию начальства», «администрацию», «правительство», «кто поднаторел в упражнениях с народом», «законодателей и надзирателей», «директорский корпус» — нажитое

им, паскудой Начальником, считая по справедливости, если не своим, то общим, то есть «украденным у народа»; а поборам начальским найдя противоядие в кражах — своё же, кровное, надо забрать назад, пусть хоть и украсть. Одни — «казнокрады», «дармоеды»... Другие — «тунеядцы», «несуны»... Один ли народ — как враги?! Но не враги, нет уж, Высший Чин и Низший Чин — суть ведь один и тот же русский человек!

И все века Низший Чин подковыривал Высшего Чина письмецом...

«Ком. номенклатура делает всё, чтобы реставрировать старые порядки с помощью рабочих и служащих, попадающих под сокращение или по 3–5 месяцев не получающих зарплату. Все негативные явления в области, да и в стране печатью и радио объясняются тем, что у власти Президент — пьяница беспробудная. Дума и Совет Федерации все просчёты в политике и экономике валят на одного человека?! А здесь мы видим, что Указы Президента саботируются или игнорируются. Просто абсурд какой-то! При этом наши начальники за счёт государства строят себе 2–3-этажные особняки со всеми коммунальными удобствами, включая асфальтовое покрытие к дому-дворцу, приобретают импортные автомобили, ездят на курорты в кап. страны и т.д. К примеру, глава администрации Надолин М.Т. и его родственник глава Задонской районной администрации построили особняки-дворцы в селе Рогожино Задонского района. Другие их приближённые построили такие же (почти) дачи в пригородах Липецка, Грязи, Ельца, Чаплина... С уважением. Иван Секирин».

Донос? В наше время доносы превращаются в такие вот крики души, так как донести некуда — и словно потому и вопит человек. Ему тоже больно. Вот читаешь и думаешь: а что, если сие письмо писано было б в другом веке? Ну, при тишайшем царе Алексее Михайловиче холопу Секирину, прознавши о письмеце, воевода Надолин мигом бы голову срубил. А письмо бы сие затолкал отрубленной голове в глотку и выставил бы на обозрение всему народу, которым правил в Липецке согласно царской грамоте.

Будь донесение это от фискала Секирина тайной почтой отослано из Липецка к царю Петру Великому с сообщением, что боярин Надолин ворует из государевой казны, хоромы себе да родне своей царские возводит — висеть боярину на виселице, да и родне всей тоже висеть... В другое время, наверное б, городничий Надолин рад был откупиться от приехавшего по письму ревизора из Петербурга, да и таких писем бы понадобилась, чтоб разбудить чиновников в Петербурге, добрая тыща. Потом бы произвёл городничий своё тайное следствие по факту письма — и того б мещанина или купца Секирина, бедолагу, что пожаловался, сжил бы со свету.

На заре советской власти товарищ Иван Секирин въехал бы во дворец липецкого градоначальника с мандатом комиссара (если до того, годиком раньше, в пору бесшабашных уличных волнений, не подпалил бы сдуру дворец). При Сталине — сидеть секретарю липецкого горкома партии товарищу Надолину в лагерях. И без дворцов, здесь Ивану Секирину можно было черкнуть

просто — «враг народа», а пунктир от Липецка до Чаплина сделался бы отрезком подземного туннеля, какой враг народа Надолин замышлял прорыть вплоть да Англии как «английско-немецко-французский» шпион. Но посадили бы в конце концов за что-нибудь и правдолюбца Секирина, раз мозолил органам глаза. При Хрущёве отсидевший Секирин писал бы письма с просьбой о реабилитации, ну, а если всё же минула чаша сия, то боялся бы даже рапортовать — непонятно, что за власть установилась, кому в руки попадёт. Да и Надолин бы, воскреснувший, руководил пока что районом тише травы ниже воды, внюхиваясь в новую линию партии. В годы застоя Иван Секирин жаловался бы в газеты на всякую несправедливость, и газеты самые центральные уважительно отвечали б трудящемуся на его запрос, жалобу или письмо, расписываясь в исполнении — что переправлено оно туда и туда, уважаемый товарищ Секирин, и меры будут надлежащим образом приняты. Надолин был бы не злейшим из врагов, ну как чурбан разве что, надоевший тем, что стоит и стоит на одном месте. А про госдачи, домики там охотничьи никто бы в Липецке сроду не слыхивал. Это в эпоху гласности Секирин бы митинговал, свергая коммунистов и партноменклатуру — и дух бы перевести, а не то что писать, нету никакого времени на письма. Бывший же партсекретарь Надолин прятался бы от народа как мог — и о будущем дворце, выставленном напоказ, могло подуматься ему только в самом страшном сне. Ну, а теперь что же... Некуда Ивану Секирину писать, кроме как к Господу

Богу, да Надолин в Бога не верует и в этой жизни навряд ли Бог его осудит за казнокрадство.

Ивану Секирину писать — копейку от себя отрывать. Однажды подумает — плюнет в бумагу, да помявши на ладонке гроши, выйдет из дому, поплетётся, глядя или не глядя потупленно на ломящиеся от изобилия витрины супермаркетов. Купит, в каком магазине подешевле, буханку хлеба: она теперь столько же стоит, что и почтовый конверт. Пожует корку. А завтра против Ельцина пойдёт митинговать, требовать надрывно отставки проклятушего президента — и будет голосовать твёрдо за Надолина, забывши про его дворцы, потому что только бывший и нынешний коммунист Надолин пообещает жителям своего района-страны возвращения обратно справедливости в качестве рабоче-крестьянской власти и что цены на хлеб не даст повысит. Что станет с Надолиным да с Иваном Секириным уже в новом веке? Вот бы что узнать... Друг без друга они не могут, смежаются их стёжки в одну — это уж точно.

Сегодня Низший Чин взывает к крепкой руке, а вчера от этой же руки отбрыкивался, митинговал против шестой статьи в конституции о монополии на власть одной партии — рушили дружно и воодушевленно тот самый порядок. Парадоксально не то, что у нас тоскуют по былому порядку, сначала его разрушивши. Всё же что руководило людьми, когда митинговали, — стремление к порядку, только более справедливому, или же просто анархические настроения, желание придраться к порядку, лицезреть униженной да напуганной власти, сильных мира сего? Последними

событиями запуганный до того народ, кажется, изловчился запугать саму власть. У нас страна уже пуганной номенклатуры, да ещё как пуганной — до смерти. Потому мы не видим волевых решений, а сами дошли до неуважения к власти такого, что всякое хоть мало-мальски волевое решение властей скукоживается как на морозе, зябнет, дрожит — и растаивает хлипко, осмеянное да потоптанное, будто и не решить что-то хотели, а напрудили лужу.

Власть не должна быть преступно-безжалостной, потому что власть, терроризирующая свой народ, — уже не власть, а будто иноземный захватчик. Кто в сталинском терроре видит идеал власти, тот сам карал или судил, тогда как в сознании жертв рождалась одна исступлённая мысль — на такое способны только враги, а потому ведь и верили в существование «врагов народа», всё происходящее этим для себя объясняли. Нынешняя власть в судорожном испуге однажды — устроила расстрел. Не от силы великой, а именно от испуга давали команду танкам палить прямой наводкой по парламенту, где укрывались те люди, что могли быть прощены, помилованы. И вот мы хотим порядка, а власть эта уже перестала для нас морально существовать. Голодные мечтают посадить сытых на голодный паёк. Те, кто рушат порядок, — мечтают у нас, оказывается, о порядке. Русский человек таков уж есть — подумает одно, а сделает другое. Когда же сделает, то захочет тут же всё переделать обратно. Нам всё не уютно, что с миром, что с войной. Мы бы хотели, наверное, такого чуда — чтоб всего было у нас по-

немножку, но и вдоволь. Чтобы ни из чего не делать выбора.

Низший Чин всегда говорит в России от имени народа и выносит приговор всему строю жизни, хотя пишет такое письмоцо человек, чувствующий себя-то именно одиноким, да и унижен человек этот мог быть только другим таким же человеком, пусть даже и представителем власти, но ведь не всей же властью? У человека нет в себе опоры — такой независимости и суверенности, чтоб он был себе хозяином, а унижение только тогда и возможно, когда кто-то ведёт себя как твой хозяин. Но большинство и не хочет за что-то отвечать. И если люди у нас хотели и хотят в большинстве такой вот жизни, по сути — «советской», то почему в России насаждался как раз взамен советского строя, с его социальными гарантиями и уравнительной системой, другой уклад жизни и всё оказалось во власти денег? Это вопрос родственной другому: а почему разрушили страну, хоть большинство жителей Советского Союза хотели жить в единой стране — в той, в которой и родились, в Советском Союзе?

Была энергия возмущения: вот всегда завидовали власть имущим, что те лучше живут, чем простой народ, — зависть к привилегиям, в общем-то обычным для правителей, легко было разжечь в народе и внушить уже идею о смене власти в России. Но возмущённые коммунистической номенклатурой люди самонадеянно не думали, что на смену ей придёт неминуемо такая же номенклатура. Точно так же обыватель понадеялся, что будет жить куда лучше, если отгородится плетнём от со-

седей: украинцы от России, русские от Украины. Это произошло, даже если бы жили в совершенном изобилии. Жадность, зависть — что утроба, досыта никогда не накормишь. А разжигались в обществе страсти самые низкие, играли на таких, низменных чувствах людей, внушая, что беднеют они по вине «приезжих», скупающих якобы все товары. И возмущение вылилось, поначалу, в закрытие своих рынков: в городах и даже сёлах начали вводить талоны на отпуск товаров — это чтобы свои же не могли отовариваться сверх установленной нормы; и «карточки потребителей» — чтобы приезжие ничего не могли купить. Потом вдруг стало это политикой, а деление на «своих» и «чужих» окончилось парадом национальных суверенитетов. Укреплялись у власти те, кто разжигал в людях зависть и ненависть к себе же подобным — но для того и разжигал, чтобы заполучить власть. А люди того не понимали опять же, что делёжка кончится распадом страны; что новоявленные политики растащат её по кускам, не желая делиться друг с другом властью. Властью над ними, над людьми. И ещё не понимали, что если вынешь из общего котла свою ложку каши, то не поешь сытней, так как ложка твоя ведь не глубже общего котла: наступившая после распада СССР во всех республиках экономическая разруха стала для бывшего советского народа шоком, даже без всякой там «терапии». А где распад продолжался, полыхали войны — в Карабахе, Абхазии, Северной Осетии, Приднестровье, Чечне — и люди убивали людей.

Вопрос другой — о свободе выборов... Советский человек формально всегда имел избиратель-

ное право. При коммунистах голосовал единогласно. Но сегодня к праву этому своему относиться с ещё большим равнодушием. Оттого создаётся ощущение, что пользоваться правом голоса свободно для нашего человека никогда и не было главным. В советское время людей именно что заставляли участвовать в выборах, а то и заманивали, устраивая на избирательных участках продуктовые распродажи. А теперь заставить явиться на выборы стоит ещё большего труда, и уже не заманивают, а покупают голоса — водкой или ещё как. Наш человек правом выбора пользуется как дармовщинкой. Свобода — дармовщинка. Если человек ищет свободы, то он и пользуется правом свободного выбора, и совершает его так, чтоб всё больше освободиться от подчинения, управления, надзирания за своей свободой. Наш же человек именно этого не чувствует — желая освободиться, будто целей у него нет и своих интересов. Свободу не во что ему воплотить. Свобода обрекает его на бескормицу. А потому-то в глубине души свобода выбора ему не только не нужна, но и чужда. Всё хорошее, лучшее в нём — и устремляется к хорошему, к лучшему. Но стремление к лучшей жизни в массе своей русский человек никак не может воспринять как единоличное — стремится не действовать и решать, а исполнять да получать. Этому человеку нужны правители, законодатели. Ощущение, что нами правят — не проходящее, оно у нас в каждом упрёке или жалобе. Но тут же следом — нужду имеем снова в правителях, в каких-то мифических других, которые устроят для людей другую жизнь.

Что оказывается сильнее? Потребность верить тому, кто тобой управляет, сильнее, чем вера в самих себя, в собственные силы и способности. И всех такое положение устраивает, ну разве что услышишь глухой ропот вечно всем недовольных мужиков: «будто они больше крестьянина знают». Но ведь о н и потому и указывают сверху, потому и правят жизнью людской, что как будто бы больше самих людей знают о их-то собственных нуждах. Скажите хором «мы знаем, как нам жить», так исчезнут тотчас и правители, тогда вы и требовать будете не правителей хороших, а свободы жить по своей воле, наивозможной полноты самоуправления. Если же нами до сих пор п р а в я т, то, значит, мы этого хотим: мы зрячи, но ищем поводырей, как слепцы.

И тут несколько уже других вопросов возникает, при таком устройстве жизни, когда народом п р а в я т вместо того, чтоб правил сам народ: во-первых, а насколько мы хорошо управляемы как народ и, во-вторых, передавая всю полноту ответственности за свою будущность правителям, истинно ли мы уверовали, что они-то могут знать больше и быть ответственной, чем вся нация, — иначе сказать, есть ли в тех же русских людях, что возносятся уже на вершины власти, способность п р а в и т ь? У нас вся история прешла в «правлящем режиме» — и всё историческое строительство похоже на сизифов труд. Русский человек не так хорошо управляем в сравнении с азиатами. Русские строили мало и неохотно — крепости от набегов да храмы для молитв, притом кремли и храмы строили невеликие, редко — каменные.

И в то же время русский человек управляет себе подобными с коварством да жестокостью, какой не встретишь у европейцев. Но в уподоблении европейцам или азиатам — произвол, многовековая ломка собственно русского народа, коверканье национального характера. Его приучают к жестокости и управляемости азиатской, желая в общем преобразовать в европейца.

С того как началось строительство уже-то государства — когда правители наши начали постройку величайшего в мире государства и утверждали свою абсолютную в том государстве власть, — русский человек в массе своей сделался материалом, государственной скотинкой. До того человек чтит своего правителя как помазанника Божьего, а теперь приучали повиноваться силе и не думать, праведна власть или не праведна. К повиновению приучило вовсе не татарское иго, а опричнина — кровью и пытками. Иноземное иго в душе всегда выпестует сопротивление, и, даже сдавленный под игом, никакой народ не теряет своей воли, она в нём зреет ещё более могучая. Другое — свои татары. Свои, что заставляют повиноваться себе как татары. Здесь если сломить в народе волю — будет покорным народ на многие века.

Народ искупали в крови — и вот явилась азиатская покорность к жестокости правителей. На этой покорности начинается строительство империи по европейскому образцу. Как глядел православный русский люд на кунсткамеру петровскую, на покойников, выставленных напоказ? Эти приметы европейской цивилизации были для русского человека дикостью, пришествием

антихристовым. Ему было уготовано волей правителя то будущее, какое представлялось только тьмой. И здесь, во тьме этой, правители видят и знают, тогда как сами люди не ведают, куда их ведут. Здесь-то зарождается в нас состояние, которое с веками делается уже национальным нашим состоянием — когда мы зрячи, но ведомы в неизвестность будущего как слепцы, уповая только на поводырей своих, привыкая к тому, что только они и владеют знанием пути. А из тьмы — вели строить будущее светлое. Но о нём также никто не мог ничего знать, так как его ещё даже и не бывало на земле.

Почему же оказывается, что мы катим в гору истории сизифов камень? Потому что мы всё же остались не так хорошо управляемы для подобной стройки — постройки будущего. Потому что нашим правителям дано не знание о будущем, а лишь жажда власти. Постройка будущего — есть так или иначе строительство некоего совершенства, и строить его должны совершенные люди. Мы же совершенны только в том мире, каким создано всё в нас, включая даже и пороки наши национальные, к примеру беззаботность или пьянство.

Вера в правителя — это давно не старая русская вера в доброго царя. Это вера, взрошенная царями да вождями злыми, застившими своему народу глаза. Тот мир, где мы были совершенны, которым были созданы, растворился, как град Китеж. Он есть, но для тех, кто слеп, как стали слепы мы после бросков ураганных в будущее, превратился в бесплотный призрак и является нам только как призрак, как мираж. И мы страшимся свободы,

потому что мы несовершенны для нее. Мы закономерно тянемся как уродцы к уродству неполного, неподлинного существования, молим себе гарантированную пайку, хороших правителей да порядков пожестче, чтоб нас карали, как только карают закоренелых преступников, не умеющих уважать чужую собственность, нерадивых к труду. Так мы обретаем покой и чувствуем себя людьми.

Но, обретая покой этот казарменный и взлелеивая уродливое казённое равенство, мы-то живы — до первого начальственного наскока на нашу жизнь. И начинает наша каша сопеть да пыхтеть по-новому, когда обнаруживаем уже-то в своём уродском порядке несправедливость, попрание прав. Мелочь, придирка — убьёт человека, разорит дотла, до бунта доведёт — ну вот, вспоминай Дубровского — равняя и барина, и маленького человека. Здесь просыпаемся ото сна и поныне: «Налоговая инспектор потребовала от меня взятку в виде оплаты её заказа на импортное пальто. Я отказал. Она тут же составила абсурдный акт с отнесением аванса в утаенную выручку, что противоречит правилам бухгалтерии и здравого смысла. По акту тут же были изъяты и перечислены в бюджет все деньги с нашего банковского счёта и так же забиралось всё, что поступало позже. Моя проектная фирма “Росинка” была ограблена и не могла продолжать работать. Год добивался признать очевидную “ошибку” инспектора во всевозможных инстанциях, но убедился, что все чиновники повязаны круговой порукой и все государственные организации, не разбираясь, защищают коллегу».

Чиновники в России — раса господ, хотя вменяется — служить людям и государственному делу. Но у нас с законами так устроено, чтобы больше в них запрещалось, чем давалось прав и свобод, поэтому гонит к чиновнику русского человека какая-то неволя. То не разрешено, другое не разрешено, там должен... Государство кормится с человека запретами. Человек дал ему столько свободы, что сам же стонет. Ну а чиновник норовит истребовать свою льготу со всякого дела или пропитателя — в виде взятки — и тем кормится. Когда обман государства становится в умах даже простых людей делом не то что прибыльным, а справедливым, честным, взятки да чиновный произвол тоже никогда не прекратятся. Пороков нельзя искоренить наказаниями. Искореняет их вполне созревшее и осознанное уже-то нравственно желание большинства жить иначе. Пока мы в большинстве своём будем считать, что справедливей обмануть государство, если оно обманывает нас, ничего не изменится. Кого-то произвол чиновника лишает последних надежд. Но тогда надо без лицемерия сказать и о том, что возможность уйти из-под действия закона для человека вообще — есть величайшая льгота. Преступник может избежать суда. Ловкач — словчить. Всё ведь тогда и оказывается возможным. Лишённые свободы естественно её обретают, когда нарушают запрет, закон. Но это опять же и не а свобода, порочная свобода тайного действия. Наш человек не меньше страдает и от её отсутствия — уже там, где на туманных берегах не берёт у него взятку чопорный цивилизованный чиновник, будто бы ли-

шая в одночасье всех привилегий. Возвыситься над ближним, иметь привилегию — вот что притягательно, и человек не столько хочет вообще справедливости для всех, сколько справедливости только для одного себя. Эта справедливость для одного себя — есть уже вседозволенность. Ну а там, где кому-то всё дозволено, где плодится подобная раса психологических господ, — там уже другим ничего просто так не дозволяется. Воровской социализм, что вывелся в наших тюрьмах, с его жёсткой иерархичной структурой, с одной стороны, но с другой — с философией общака, общего котла — есть яркий образчик этой нашей экзотической национальной психологии: жажда привилегий (верхние нары сразу делаются привилегированными в сравнении с нижними) и не менее сильное желание всё обобществить — это чтобы у соседа по нарам не оказалось жратвы больше да лучше (зависть к чужому достатку).

Административное и политическое устройство кажутся всего лишь платъишком, в которое рядится государственная власть, ну а могла нарядиться так же легко в другое — была бы Россия не президентской республикой, а парламентской или ещё какой... Кажется, что самая действенная часть в государственном устройстве — законы и что насушно только избрать во власть прогрессивно мыслящих людей, чтоб они дали нам живительные законы. Но именно от административного и политического устройства зависит в конце концов, как будут исполняться законы. Бюрократия неизбежна. Она враждебна человеку, его свободе, но без неё невозможно принятие и исполнение го-

сударственных решений. Вопрос не в том, что наши выборы — это плохо продуманный бюрократический механизм, который закупоривает своими тромбами приток живительных умов во власть... Россия оказалась в новейшее время поделена на всегда чьи-то администрации, и всё древо её бюрократии по-прежнему тяжеломерно, почти мертво. Какие бы люди ни пришли во власть — законы не будут исполняться. Мы с каких-то пор только и боремся с бюрократией, не осознавая, что нашему национальному характеру требуется бюрократия с таким же национальным характером и что за историю выработались у нас свои самобытные формы того же административного устройства. Самая живительная из этих форм — земство. Историей доказано также, что в России опасно сосредоточивать государственную власть в одних руках. Эти руки очень скоро оказывались нечистыми или окровавленными. Царь, Генсек или Президент у нас к тому же оказывались безответственней, чем хоть какое-то собрание государственных мужей. Русская революция выстрадала Учредительное собрание, но мы так и не узнали, какой выбор должна была естественно совершить Россия, разорвавши путы самодержавия, так как царское самодержавие сменилось большевистской диктатурой. Советы рабочих и крестьянских депутатов в эпоху военного коммунизма стали не формой государственного устройства, а способом почти военной мобилизации в революцию людских ресурсов. Это положение узаконила уже в мирное время конституция 1936 года, как бы превращая то, что было ополчением, в регулярную армию.

Автономные округа и советские национальные республики окончательно пришли на смену губерниям. Но республики эти национальные возникли также в мобилизационном порядке, были порождением воинственного интернационализма, направленного как раз на растворение всех самобытных начал. Национализация административного устройства на деле не освобождала народы, а создавала такую тягчайшую бюрократическую машину, которая должна была закрепить советские народы. Последующие переселения народов обнаружили этот чудовищный бюрократический механизм во всей мощи.

Ныне национальные республики, зачастую с презрением к самой России, заявляют о суверенитете своих народов, но бюрократический механизм, внедрённый в них, ограничивает свободу этих народов так, как не способен был сдавить их никакой русский царь. Ограничивает так, как способна ограничивать свободу человека только *бюрократия*, ограждая запрещениями и особыми условиями каждый его шаг, каждый вздох, — не учитывающая никаких особенностей человеческих, и тем более тончайших особенностей национального характера.

Этот молох поглотит и самые живительные умы. Да уже и поглотил. Ну разве это постижимо! Всё, что вымалывает теперь тот же российский фермер у народно избранного президента да у своих же народных избранников-депутатов, но так и не вымолит, — всё это даровано было когда-то крестьянам государем императором... Крестьянство — сила особенная. Крестьяне кормятся

от земли, но прежде всего осознают себя кормильцами: это они для всех пашут, сеют, жнут, имея ответную нужду в промышленных товарах не такую жизненную, не такую великую, какой была и есть нужда в хлебе насущном. И потому эти все в сознании крестьянина заведомо от него зависимы, а он держится всегда как бы сам по себе. Так что сила его — в земле. Какая бы власть ни была — а земля остаётся землёй, и главное — быть к ней поближе, иметь её побольше. Крестьянство, на первый взгляд, корыстно, и хлебушком никогда просто так не помогут, лучше припрячут в амбарах. Но будут с хлебом или нет, уродится ли пшеничка — это зависит от дождя и снега, солнца, ветров, морозов... От Бога. И вот стихийное какое-то христианство в русских мужиках: бескорыстное отношение к самой земле, которую считали принадлежащей Богу и стремились обобществить, считая владение помещиками землёй несправедливым, как будто те присваивали себе общее.

Сегодня колхозники с фермерами ненавидят друг дружку, как два враждебных класса. Но молиться на свою земелюшку, как русский крестьянин молился, ни фермер, ни колхозник одинаково не будут, хоть частник, конечно, как хозяин, куда рачительней и трудолюбивей наёмного сельхозрабочего. Ушло то мироощущение крестьянское, когда землю понимали как принадлежащую Богу и несли за неё ответственность как перед Богом. Но что в крестьянстве осталось старого — это закваска. Так или иначе, именно крестьянин не начнёт работать в полную силу на

земле, пока не почувствует в оплате плодов своего труда совершенную справедливость. И будет сидеть на печи, а «по копейке за килограмм» говядины или картошки богатеть согласится только за колхозно-совхозный счёт, зная про себя, что хлебушек у него всегда будет или картошка, да и чего-то ещё на дармовщинку ухватит, ну а колхозы эти — пусть разоряются. Когда там молока да мяса не станет у них-то, в городах, вот тогда и придут, и в ножки поклонятся. И выходит, что государство наше, которое как смерти и должно бояться банкротства крестьянских хозяйств, думая, что берёт за горло крестьянина, душит само-то себя.

Но вот абсолютный самодержец по доброй своей воле так-то раскрепостил русского крестьянина: земля отдана была с выкупом, который растянут был на многие годы, но уже в следующее царствование выкупные долги крестьян были прощены; крестьянский банк давал беспроцентный кредит, вся пахотная земля была справедливейшим образом оценена (действовал кадастр); вдобавок действовал закон, запрещающий отчуждать у крестьян землю, то есть банкротить, предположим, чтоб после за долги отнимать... Не было ни демократии, ни конституции! Что же у нас-то в конце концов происходит? Постижимо ли уму — это сегодня крестьян закрепощают, а при царе отпускали на волю, да ещё ведь кто отпускал? Алтайским краем, землями этого края владела сама царская семья — и просто даровала этот край, эти земли поджатым семейными разделами крестьянам. Безвозмездно! Переселенцам давали ещё

и подъёмные, чтоб было с чего начинать. Сегодня существует одно объективное препятствие для свободы собственности на землю. Разведанные и неразведанные недра — вот сегодня основное богатство земли. Как ни оцени землю, но если там нефть или руда — окажется, что скупят по дешёвке-то богатейшие недра. Но ведь можно решить разумно этот вопрос, если захотеть. В 1861 году были такие же казавшиеся неразрешимыми вопросы, но решались в конце концов. Реформа произошла. Потому главное решили — раскрепощаем. И чтоб крестьянам было выгодно уходить с барщины — как вот из колхозов, — создавали особые льготные условия. Хотели. Могли. Ни государь, ни государство в его лице не отстаивало только свой корыстный интерес. А народно избранные теперь о чьей пользе пекутся? Даже глухой и слепой не скажет — что о пользе народа.

Что же случилось в XX веке? А вот что — сменился дух бюрократии.

Отмена почти всех социальных гарантий для граждан, «бесплатных прав», обозначала поворот государства и общества к свободным экономическим отношениям, но не была ещё бесчеловечной и не узаконивала деления российских граждан на сытых и голодных. Бедность, нищету надо признать общественным злом, но не для того, чтоб огородить беднейшие слои населения как общественно опасную, заразную свалку мусора, а чтобы спасать людей с этой свалки, вывозить из бедности и, в конце концов, — гарантировать каждому гражданину страны социальную защиту, работу, достойную человека оплату труда.

Но гарантий подобных всё же не вымалывать пристало у чиновников, а требовать. Отчего у нас такое высокое значение имеет «совесть», «честность» в глазах людей, так что именно быть совестьливыми да человечными требуют они от чиновников? Все хотят «честного президента», «честного директора», то есть честного человека на каком бы то ни было государственном посту, который не станет воровать по доброй воле и будет как родных жалеть простых граждан... Да пусть будет злым, даже пусть нечестным, но повинуется закону! Или это идеализм наш таков, что нам надо обязательно верить и мы никак не хотим принудить чиновников подписать с нами некий общественный договор и строго следить потом уж за тем, без душевностей, чтоб они исполняли его как и положено. Ведь это мы их нанимаем на работу, платим им зарплату — хорош тот подрядчик, который нанимает работника, а после плюхается перед ним на колени, крестится да молится на него — не обмани! не укради! не обидь! Мы ведь сами не замечаем, как работники в своих — тех, кого нанимаем на госслужбу для исполнения конкретных общественных работ, — делаем уже-то своими хозяевами. Праведно, правильно — это когда мы примем человечный, в своих интересах закон и будем сами надзирать за его исполнением, сурово да безжалостно карать всех соблаздившихся на чужое или жизнями чужими бездарно распорядившихся. Неправедно, неправильно — это когда мы кличем во власть людей человечных да совестьливых (подозревая-то в каждом власть имущем вора!), чтоб они бесчеловеч-

ность наших законов, наших порядков совестили да смягчали, прощая заодно и наши грешки, за что мы им тоже какие-нибудь грешки с лёгкой душой простим.

Демократия по правде-то дарует человеку в его жизни облегчения самые малые — несколько гражданских свобод, которыми не всякий и воспользуется. Свободы эти — жизненно необходимы людям деятельным или творческим. Надетое на человека дышло давило сильнее, по-живому не отсутствием свобод. Есть ведь места, где человек поневоле лишён свободы — те же тюрьмы, лагеря, детдома, психбольницы, инвалидные интернаты, казармы... А к людям и не стало отношение со стороны государства человечней. Оно, государство, до сих пор карает, а не милует, не делая различия, например, между рецидивистом и малолеткой. Что менялось в условиях содержания заключённых или душевнобольных? Ничего. Что менялось в буквах законов, давящих человека? Ничегошеньки. Все как глухие прошли мимо самой кричащей людской боли — что условия содержания людей, где бы то ни было, приближать надо к человеческим условиям — и ушли с головой в эфемерную борьбу за «права человека», без важнейшего прибавления: за права «человека обездоленного», которому насущней всего и могли бы помочь, избавив от каких-то реальных физических страданий, реального бесправия. Помочь надо было всем, кому и тянулось помочь советское общество, но было всё же во многом то ли равнодушно, то ли малодушно. Сказать о жестокости, царящей в колонии для малолетних, породён-

ной, во многом, жестокостью самого режима заключения, было запрещено. Только — парадные рапорты. То же и о насилии в армии, где счёт погибшим от неуставщины уже шёл-то на десятки тысяч. Но ведь это лицемерие имело своё самое неожиданное продолжение... Когда полезла наружу в 90-х вся горькая, порой беспощадная правда о происходящем в армии или в тех же колониях, людям-то советским давно это было между собой известно, ведь и через армию, и через лагеря проходили массово, если и не всенародно...

Но всё тому же лицемерию повинуюсь, ужасались как чему-то доселе неведомому, громоздили обличение за обличением... отсылая их к власти! требуя на этой-то обличительной волне гражданских свобод! Не облегчения участи для всех обездоленных, где общество должно было проявить милосердие, сострадание, а новых, даже неведомых ещё советскому человеку прав (сначала — свободы слова, потом — свободы выезда за границу и дальше, вплоть до обретения государственной независимости для России) — а что же содержащиеся в сиротских и инвалидных домах? Никакой гуманитарной революции как раз не произошло. Произошёл социальный переворот, то есть смена власти и экономического устройства. Начались реформы — это получили мощнейший и самый непредсказуемый ход уже выпестованные в недрах власти идеи об «ускорении», о техническом ремонте в экономике.

Сердце этих преобразований — всё та же мысль обывателя об изобилии. В демократии обывателю виделось именно изобилие, но отнюдь не не-

кая идея о справедливом человеческом устройстве общества. И вот как наказание: неожиданное устройство жизни в России как раз на безжалостных, механизированных законах, катастрофа в промышленности, духовный паралич... В бездушную машину так и не вдохнули душу. Вопрос преобразований решали не как нравственный, а как механический, только то и усвоивши — «что по этим законам живёт весь цивилизованный мир». Между тем как мир этот цивилизованный жил прежде всего по законам сострадания к немощным да меньшим, осознавши давно, что всякий технический прогресс обречён, если страдает или гибнет человек. Ложь величайшая — что решение этих вопросов требует невозможных денежных затрат. Так мерещится только от зависти или жадности тратить на «мусор человеческий» государственную копейку. Каких затрат стоило облегчение режима заключения в колониях? в домах инвалидов? в детских домах? Инвалиды у нас в интернатах обречены на одиночество только потому, что брачную пару инвалидов разъединят по половому-то признаку жить в разных углах... Сироты беззащитны перед жестоким обращением в детдомах, потому что не имеют права выбирать их по желанию — могут вот разве что бежать... Несовершеннолетних закон не воспрещает содержать в одних камерах с уголовниками, отдаёт их на мучения, о которых сказать содрогается душа... Командиры уголовно не ответственны за смерть в мирное время солдат, хоть все солдаты безгласно отданы в распоряжение именно своих командиров... В отношении репрессированных в годы

сталинщины — тех, кто попадал в советские лагеря из фашистского плена или выйдя из окружения, — до сих пор действует тот же закон, по которому их сажали, за «добровольную сдачу в плен», так что реабилитации не подлежат.

И вот пишет человек, мыкающийся по инстанциям, чтоб восстановить доброе имя отца: «Горше былой несправедливости ещё и от того, что и нынешнее российское правосудие в лице Генпрокуратуры придерживается тех же принципов, квалифицирует содеянное в 1941 году по действовавшему тогда сталинскому уголовному законодательству — “у нас пленных нет, есть только предатели”, — а не с учётом объективной исторической правды и не с позиций Милосердия... Кому от этого легче?!» Так ведь и вправду, неужто легче кому-то в нашем государстве, что вина слепо осужденного солдата, и после мук его и после самой смерти, «подтверждается его признательными показаниями как на предварительном следствии, так и в суде»? Его до сих пор всё ещё приговаривают к высшей мере наказания. За что?! За то, что он, участник ещё и финской войны, на той ещё бойне уцелевши, ушедший на вторую свою войну добровольцем, попал в ноябре 1941 года в окружение, смог совершить побег из плена и пробилсЯ-таки к своим! Какие нужны были реформы, каких объёмов валютные займы, какие свободы и какой жирности изобилия надо было достичь в стране, чтоб снять эту тяжесть с двух уже раздавленных безжалостно людей? Или мы хотели жить в изобилии, ездить по заграницам да свободно голосовать, сменяя туда-сюда власти, а про этих двоих

никогда и не хотели ничего знать? И это вершина нашего общественного лицемерия, нашей, теперь уж, демократии.

Мы жестоких бесчеловечных людей называем «зверьми», но что звери ещё и гуманней человека оказываются — это известно. И не их беда, животных, что у нас в России всё слабое, доброе или взыскующее к гуманизму удалят обязательно на живодёрню или в камеры вивария, умерщвляя так, чтоб не накладно было, делаясь по-звериному глухими к страданиям живого существа — подопытной обезьянки, бездомной собачки или гонимой на убой коровы. И не то чудовищно, что есть в России масса и людей бездомных, что и на людях ставят у нас опыты — экономические, что мясо пушечное гонят на убой... Чудовищно, что при всём при том какие-то люди, которых среди нас большинство, остаются уже к человеческим мукам точно так же по-звериному глухи. Вот почему чудовищна наша жизнь.

И потому во всех логичных и во многом справедливых рассуждениях о собственной вине обездоленных в своих бедах есть всё же что-то неестественное, а порой и подленькое, если эти рассуждения лишены сострадания к терпящим бедствия людям и уводят подальше от глаз правду о самой людской беде! Да, выбирают правителей по себе, а после безразличны к своей участи, но разве не страшнее равнодушные к участи собственного народа? Да, верят то ли слепо, то ли жадно в обещания, но разве не страшнее те, что кормятся людской верой как упыри да развращают свой народ? Или должно каждому в каждом же подозревать

лжеца? Вопли «дайте», «спасите», «сделайте», которыми надрываются обездоленные, то злобно проклиная власть, то взывая жалобно к ней, похожи на помрачение, буйство... Это не для чистых ушей.

Но ведь этот голод, и страны и народа, и вопли надоедливые о помощи, что так безнадежны, порочны, ужасающи, — всё это несчастье, беда! Кто же разоряется и доходит до нищеты, до голода по доброй воле? И все эти надоедливые вопли — о помощи в беде. Кормящихся в России больше, чем кормящих, потому что, как это ни чудовищно звучит, бескормица бывает выгодной — чтоб иметь рабсилу поговорчивей да подешевле, чтоб диктовать свои условия павшей стране. Человеку, ясно осознающему, что ему не дано ни единой возможности, чтобы он сам мог изменить к лучшему свою жизнь или же сам мог себя прокормить, только и остаётся возопить о помощи к тем, кто наделён и властью, и силой, — разве власть не на то и власть, что сосредоточивает в себе всю возможную силу? Но тогда отчего же она не приходит на помощь к слабым и немощным? К ней обращается кормилец — «вот наши нужды», испрашивая не похлёбку, а избавления от тягот каких-то, самим же государством на него наложенных, или каких-то новых свобод. Хочет, хочет, чтоб было ему как полегче, но ведь для того «полегче», чтоб иметь возможность пахать до седьмого пота и вдоволь себя да других накормить. Но вместо насущной свободы, дающей силу или право, искушают сонмом порабащающих мнимых греховных свобод. Доходи до какой хочешь низости разврата,

мни себя свободным, грехи да грешки все прощаются, а вот владеть землёй не смей; хода во власть — не мечтай — больше для людей из народа нет; а за то, что совершить может, оступившись, хороший семьянин или глупый подросток, — карают без чувства меры и снисхождения как законенных преступников. И вот нужда превращается в ту самую безнадежную, порочную, ужасающую нужду, от которой вопит человек, но — остаётся без помощи. Не получит помощи, потому что слаб, немощен... Потому что бесправен, обязан, наказан... Подвешенная в воздухе махина власти, что маятник, в который раз качнулась в бесчеловечную сторону.

Всё в России делается не с первого раза, а со второго... Со второго раза взяли Азов и разбили шведов — да и всегда сначала отступали, сокрушительное терпели поражение, а на втором дыхании вдруг возрождались и давали отпор, откатывая волны нашествий аж до края земли. Ничего не получалось с первого раза, ну ничегошеньки. Даже революций и то у нас две, со второго раза царя-то свергли. За бездумье, спешку, самонадеянность — платим за всё дважды. Так что и победы всегда пирровы. Но наш «первый раз», а порой и «второй» — это всегда хоть и жестокая, да проба. Всё это нам было дано, чтобы понять, отлипнув от стены, о которую ударились, что надо действовать терпеливей, умнее, сплочённой... Кто же десятилетие получал неслыханные, невиданные барыши, выкачивая из России всё, что только возможно, безбожно эксплуатируя ставший почти повсеместно неоплатным, рабский труд, слы-

нут как талая вода. Это только призраки, что ещё шатаются, шныряют по России в поисках наживы, чтобы только подольше продлить это, всегда обвальное для России время смуты — страха, запустения, малодушия, грабежа. И власти, привыкшей к жертве народной, будто падаль какую, почувшавшей дармовщинку эту — мы же сами такой и позволили быть. Она пирует нами же; слабейшими поначалу — кто не даст отпор, кто еле на ногах. Ведь в такие времена весь народ, народное — и есть жертва, добыча. Выкачают из России десять миллиардов, пятнадцать, двадцать (мерь на жизни — ведь каждый рубль или доллар из человеческих жизней вытопят, будто жир). Но всё равно кончится их время: очнётся русский человек. И сплотятся снова русские люди в силу любви своей загадочной к родине, потому загадочной — что против здравого смысла встают они могуче на защиту уже униженной, уже разграбленной страны и обнаруживают совершенное бескорыстие, тогда как снедаемы могут быть корыстью или завистью к ближнему хуже клеца. Это бескорыстие — удивительно. Оно и есть — наше русское чудо. После чего мы выходим живыми всегда и преображёнными, так вот сказочно. Это чувство не побеждает в России сегодня. Оно как зерно, зароненное для будущего — всходящее даже после того, как вся Россия, чудилось, промёрзла до корней своих.

Сегодня одинокие и разобщенные, завтра в России являются и побеждают на втором дыхании истории удивительные люди, которые тем счастливы, что Родина их в величии.

Любовь к Отечеству осмеивают подонки, цинично разменивают политики, мёртво талдычат школьные учебники или толпы мстителей народных кричат про неё, ненавидя весь мир... Но должен раздаться спокойный совестливый голос того, кто даден России свыше как второе дыхание. Он уже сделал свой выбор: «Почти все люди моего возраста поглощены “деланием денег” или просто семейными заботами. Когда я учился в школе, я собирался “нести знамя советской науки”. В институте со временем пришло понимание советской системы и работа в военно-промышленном комплексе потеряла для меня всякий смысл. После окончания института я одно время занимался бизнесом — увы, в нашей стране это беззастенчивое воровство, да, наверное, не только в нашей стране. Конечно, можно работать в бизнесе и быть честным человеком, но это мало кому удаётся. Где я могу принести пользу России — заниматься тем, на что не жалко будет потратить и годы и труды?»

РУССКИЙ ЧЕЛОВЕК САМ НАЙДЕТ ОТВЕТ НА ЭТОТ ВОПРОС.

КАЗЁННЫЙ ДОМ

На жизнь я зарабатывал охранником в больнице. Так получилось, что жизненные обстоятельства в разное время ставили меня, в сущности, на одно место — вертухая, вахтёра, охранника — и я становился частью того, что самому сильней всего в этой жизни ненавистно и что по мне-то прокатывалось безжалостно катком.

Служба моя в этой больнице кончилась в первый же месяц увольнением. Я попал в съёмку японского телевидения как литератор. Японцы снимали фильм о России, была там серия и о культурной жизни, понадобился им типаж молодого русского писателя, и в редакции «Нового мира», где опубликовался тогда мой роман, «Казённая сказка», посоветовали меня. Надо сказать, что за роман, стоивший мне двух лет работы, получил я двести тысяч: раздал долги, да ещё и остался-то

в долгах. Надо было искать работу. Намаевшись за два года безденежья, за место в охране держаться я готов был зубами, такая вот получалась история. Японцам же хотелось снять меня, конечно, и на рабочем месте, в том был их бредовый сценарий, как они мне объяснили — русский писатель изучает в гуще народа жизнь. У больницы, в брошенном ларьке, жили бомжи, которых мы, охранники, то и дело гоняли, для порядка. Так вот японцы, всё облазившие вокруг больницы в поисках природы и раскопавшие этих бомжей, рисовали мне такой сценарий съёмки: русский писатель, изучающий жизнь в шкуре охранника, то есть я, берёт бутылку водки (водка за их счёт — реквизит) и отправляется в гости к бомжам, распивает с ними бутылку и узнаёт правду о жизни. Я тогда-то начал выходить из образа, упёрся — не пойду!

Японцы не верят — вы же, Павлов-сан, написали роман о народе... Слово «казённый» с русского языка не переводится, а начинаешь им объяснять — не понимают. Показываю на стену больничную, а сидим на вахте, на кипятильник и банку, где завариваем чай, на форму свою армейскую, на дубинку — вот, говорю, это всё казённое, бездушное, чужое. Но объяснить до конца и самому трудно, будто за волосы себя тащишь. В общем, сняли они меня, разочарованные, на фоне этой стены, в вахтёрке, наговорил я им про русскую литературу, уехали, надо им было снимать в Сибири. А на следующий день кто-то донёс главврачу больницы, что в больницу проникало иностранное телевидение и снимали в вахтёрке какого-то охранника. Тот, испуганный до смерти, говорит, чтобы

звали к нему охранника, меня. Кто я такой, я скрывал — и вот пришлось сознаться, что литератор, малость вот прославился, подрабатываю у него в больнице, а японцы ничего тут не снимали другого, а только меня на фоне стены. Думал, врач, человек образованный, поймет, ещё и зауважает. Он успокоился, но говорит мне, уже на «вы»: вы с завтрашнего дня уволены. Я обомлел. Ну, сняли меня, они даже в больницу не проходили, она же не государственная тайна, чтоб запрещено было её стену снимать. Тот уже кричит: нет, государственная! А если покажут по ихнему телевидению! Я уж и страдал его, чем мог, что пожалуюсь японцам и они об этом в своем фильме расскажут, но вышвырнули из больницы на следующий день, отчего-то вовсе он не испугался.

Уволил меня хозяин нашей фирмы охранной, отставной офицер, который зависел от главврача подрядом, но сжалился всё же в последний раз, трудоустроил в другую больницу. И усмехался надо мной по-доброму, что хоть я и писатель, но дурак, потому что всё дело в деньгах: главврач простить мне не может, думая, что японцы заплатили мне доллары за съёмки в больнице, а должны платить ему, он бы им всё, чего бы ни захотели, раз решил.

Японцы нагрянули ко мне через неделю, прилетели из Сибири, надо было доснять. Когда же я им рассказал, что после их съёмок свершилось, они даже не удивились. Стали жаловаться, как их тут в России все стараются ободрать да притесняют. Испугались, что и я теперь потребую с них вроде как возмещения ущерба, сказали, что если мне

важно восстановить свою репутацию на работе, то они готовы написать, составить письмо в Минздрав и что его подпишут руководители их компании с просьбой, чтобы меня не наказывали.

История эта в фильм никак не попала, они не стали её снимать, побоялись как бы лезть не в свои порядки. Всё они знали, всему искусству жить у нас обучились, но про казённое они так и не поняли, что это такое. С тех пор я и вправду сжился со шкурой охранника, служил-то не месяц, а годы.

Бытовой современный фашизм на больничный лад... Была больница. Ходили в неё все годы советской власти как хотели, навещая свободно своих больных, правил особо не соблюдали — как говаривал Салтыков-Щедрин, что законы у русских хороши необязательностью их исполнения. Полно было дури в больнице, однако, и при советской власти, да не такой жестокой, это теперь мы и стали такие жестокие, потому что, наверное, стали умней. Мне рассказывала одна пожилая санитарка историю из 80-х годов, из времени Олимпийских игр. В больницу попал негр из капстраны, с аппендицитом. И вдруг поменялся больничный рацион: кормить стали курочками, салатами из свежих овощей да фруктами, а главврач и ещё кто-то, кого прикомандировали в больницу из «комитета», лично проверяли каждую готовку. Но это не показуха началась, а прошла по больнице линия фронта идеологической борьбы. Когда негра забрали и перестали навещать из посольства, то рацион тут же поменялся на обычный советский, из макарон, а поскольку больные неудобны

были как свидетели «хорошего питания», то поступила установка: приём больных временно прекратить, а какие выздоравливают, тех без промедленья выписывать. Такая вот чистка произошла больничных рядов.

Теперьшние больницы обзавелись охраной. Такие времена... В самоохране этой, больничной, вокзальной, рыночной, стояночной, вооружённой, и невооружённой, и всякой прочей, кормится половина нашего народа — охраняет же не иначе как от другой половины. Зарплата московского охранника — больше зарплаты воркутинского шахтёра. Шахтёр трудится в аду, а получает как в раю. Охранник сидит сиднем, а получает как за работу адскую. Потом уже я заметил, что получает самоохранник как милиционер, как страж порядка. На рынке — значит, рыночного. На вокзале — вокзального.

В больницах в начале этих времён охранники лентяйничали, пропускали всех валом и никакого порядка не было. Охрана пила да гуляла с работы. Но так при советской власти могли работать, а теперь у нас — конкуренция. Хозяева фирм, боясь подряд упустить на охрану, начали порядок наводить. Охранников, с которых и начали, превратили в бригаду, поставив над ней старшего. Превратившись в начальника, тот ужесточает дисциплину путём штрафов в свой карман.

Началось с того, что вовремя, к семи утра, стали выходить на работу сами охранники. В больницу начали пускать только по пропускам и в часы для посещений. Было это зимой, так что людей, пришедших навещать своих родных, содержали

в «предбаннике», люто морозили, не давая переступить и порога больницы, хоть в ней нарочно для этого имелся холл. Но была лазейка — охранники нагоняли строгости, поняв, что тогда покапают в их карманы взятки. И это было видимостью порядка, который за десять тысяч растаивал как мираж. Но потом начальник уволил парочку за взятки, брать их стали бояться и не пропускали без пропуска или не в часы посещений даже за сто тысяч. Не пропускали потом к оперированным и только поступившим, на беседу с лечащим врачом. Потом был карантин, ужасающий, из-за эпидемии гриппа, когда посетителей перестали пропускать даже по пропускам. Но передачи носить было некому. Их носили сами больные, которые ходячие, или нужно было выйти больному в «предбанник», где его дождался посиневший от холода родственник, и взять передачу самому — а больные-то в халатиках, да ещё ведь женщины из гинекологии! Карантин открыл возможность подзаработать гардеробщице: она за умеренную плату носила передачи и вызывала из отделений больных, которых охрана и выставляла за порог, на мороз.

Карантин кончился. Теперь нововведение: охрана не пускает на посещение без сменной обуви — говорят, в грязное время года наступает такой режим переобувания. Людей посылают за пакетиками в магазин за углом: купишь два пакетика, зачехлишь в них обувь — проходи. После посещения же больных многие свои пакетики выбрасывают, и тут эти халявные пакетики разбирает под конец дня больничная служба, которая

сплошь из малоимущих: санитарки, уборщицы, лифтёры, опять же не гнушается и гардеробщица — да ещё берут про запас, для родни! Описать это зрелище, как люди стадом обуваются пакетиками и бредут в отделения, я не в силах — нет таких красок, такого холоднокровия у меня. Но слышны не шаги, а сплошное крысиное шуршание по всей больнице и глухота. Потом поднаторели и стали приходить со сменной обувью, но грязные сапоги гардеробщица отказывается на хранение принимать. Так что переобувшись, грязные сапоги несут в руках в те же самые отделения, да ещё какие сапоги у большинства: стертые, избитые, когда купить другие не хватает давно средств.

И тут унижение народа видно ярко, зримо, беспощадно, как с высоты: заставляют переобуться и нести в руках у всех на виду свою же нищету.

Перестали пускать с детьми, ввели правило, что один пропуск даётся на одного человека, то есть если даже по пропуску приедут навестить дочь, скажем, отец да мать, то ходят они к ней, как в уборную, по очереди. Да, в уборную, конечно, пришлых не пускают, это в больнице только для сотрудников, об этом администрация заботится особенно тщательно, тут с охраны давно особый спрос. И начинается такое, что посетители, которым запретили входить в кабинку, выбегают на улицу и мочатся за углом больницы, а то и прямо под стеной. Взятки остаются, но их теперь и не дают, а всучивают силой в карман, да ещё с мольбою, то есть если удалось вручить охраннику взятку каким-нибудь фокусом-покусом, тогда прой-

дешь. Отчего всё так зверски, и никто от этого зверства, с одной стороны, не устанет, с другой — не возмутится? Что это за жизнь? Дедок натягивает пакетики, из дому принёс, купить денег нету, говорит: «У нас в госпитале, в третьем, там порядок, там бахилы дают!» Так вот был какой-то порядок, но теперь в память о нём и как отродясь, будто это в крови, натягивают не задумываясь пакетики, облегчаются безмолвно не в уборной, а будто воруя, за углом.

Охрана, народец, на охрану подряжённый? Их дают, и они дают. Да ещё ведь деньги — платят их, по сути, ни за что, так как это халява, а не работа, потому эту халяву и отрабатывают с таким, с одной стороны, усердием и, с другой стороны, бездушием, что работников тут ценных нет и уволить, сменить за малейшую слабость их могут в момент, поставив на их место ребяташек из очереди, которые готовы на то же, так как вовсе не имеют работы, и ведь даже за ещё меньшую плату.

Это опричнина, то есть порядок в порядке; такое устройство жизни, когда, чтобы быть не битым, бьёшь сам. Всё на страхе. Человеку всё надо запретить, потому что страшно допустить его к свободе, и те кто исполняют, то исполняют уже из-за страха оказаться ненужными, как бы ведь и на свободе, а кто подчиняется безропотно — то из страха, из добытого целыми поколениями знания, что свобода есть отсутствие порядка, именно вынужденная необходимость, а запрет есть необходимость не вынужденная, именно насущная. Значит, надо подчиняться ему, как если бы ты сам того же хотел: если бы мог сам, будучи начальни-

ком, такой запрет — ввести, при должности — исполнить, а будучи простым смертным — всегда подчиниться.

А в стенах больницы — люди, страдающие, не могущие после операции и встать, иные и на смертном одре. Одна санитарка, у которой в отделении полсотни больных, ухаживать за ними не будет. Одной больничной гнусной баландой они не поздоровают. Им надо носить еду, кормить их с ложечки домашним, свести в уборную или убрать утку, укрыть потеплей, согреть и душевным теплом, чтобы они верили в главное — что должны выжить, что нужны своим родным, которые ведь только и вселяют в болящее тело здоровье, жизнь. Но по такому порядку, которого разумом постичь нельзя, живут изо дня в день и выживают, в общем, что-то побеждая, неизвестно что, усиливаясь как люди, то есть развивая в себе, как мышцу, ч е л о в е к а — существо, которому всеми мыслимыми и немыслимыми способами дано от природы находить выход из самых безвыходных обстоятельств, когда бы, скажем, не выдерживало и подыхало животное, ломался камень...

РУССКАЯ АТЛАНТИДА

В теперешней Москве нет своей Хитровки и не может никаким чудом быть, возникнуть. Но сама та Хитровка, которую знаем мы из очерков Гиляровского, была чудом. Муравейник жизни, сооружённый не трудягами, а паразитами общества, его отбросами — как будто вши нанесли соломинок, проделали ходы, быт наладили. Комнатухи, бабы, трактиры, околоточные, своя фирменная жрачка — потрошки! потрошки! «Хитровка» — имела свое право, как Царское Село или Соловки. Не уродливый, что грыжа, городской притон, а своя окраина-земелюшка, вольница, с которой выдачи нет. Чудо то, что бродяги в кои-то веки стали почти народом, силой — гордыми духом «хитровцами», которых страшились обыватели, а писатели — спускались с уважением в запахшую преисподнюю их муравейника, с жадной

понять, постичь. Ходили даже не сами по себе — не смели просто так взять да пойти, а был свой Вергилий. Иначе, без Гиляровского, отмирала душа. Ходил на Хитровку сам Толстой! Гений человеческого приходил к отбросам человечества. Был там, у них. Что он искал? Что понял?

Достоевский — что человек ко всему привыкает. Толстой до смерти твердил, что единственное благо — это любовь, то есть хоть не мог, а заставил себя умом, но возлюбить «бабу, что валяется в грязи». Для сознания и души есть два испытания. Одно было задано Достоевским в «Братьях Карамазовых» — слеза ребёнка, возможно ль счастье всего человечества построить на этой слезе, самой чудовищной и кромешной. А другое испытание было определено Толстым, и во всех его произведениях завязывается этот узел, потому что для него, человека происхождения куда как благородного, а стало быть и для героя его, для толстовского героя, самый напряжённый в смысле бытия был именно этот вопрос — могу ли возлюбить человека, если же надо возлюбить его и таким, грязнёньким.

Обращение к Достоевскому и Толстому, обычно, — это начало назидательного интеллигентского разговора, где единственным доводом служит литература. А преисподняя, где затонул и таился, как в болото брошенный, ключик от счастья человеческого — без которого всё было несчастьем, мукой совести, ложью, — всегда была в России рядом, под боком. Всегда и надо было проделать только этот путь — доехать до Хитровского рынка. Или был другой такой же прижизненный путь

в ад, опять же Достоевского — по этапу на каторгу, в мёртвый дом. Но эти два пути в преисподнюю отличались не по долготе и расстояниям, а по тяжести. На каторгу — с грехом, в кандалах. На Хитровку — с тростью и на извозчике.

Два ответа, что нельзя построить на слезинке рая и не будет рая, если не возлюбить грязной пьяной бабы, — дьявольской какой-то хитростью оказались для России и русского народа двумя дорогами столбовыми в революции.

А может, и были они — дьявольским воистину ухищрением, искушением. Вместо слезинки — океаны крови, вместо блага любви — отупляющее стадное чувство. Что было дном — поднялось и стало сушей. Проклятые эти два вопроса, как графитовые стержни после взрыва реактора на атомной станции. Они разлетелись на тыщу осколков-вопросиков, и на них нам ответить трагически невозможно, потому что нельзя уж их собрать и подчинить своей воле. Это они подчинили теперь нашу волю, а наша жизнь — как заражённая зона, где возможно будет даже достичь изобилия и всё станет до ужаса плодоносить, но все-то мы будем не жить, а бесконечно болеть, окружённые уродами и уродством.

Нравственная мутация, перерождение уродливое человеческого существа — это теперь и мучит. Дно жизни, что было-то и её глубиной, исчезло... А по улице бредёт голодный прокопчённый человек, полутруп, боязливо по-собачьи щерясь на людей, что шарахаются только от его вони. Ему некуда идти. Незачем жить. В этом человеке уничтожено то важное для нас всех, хоть

это и дико может звучать, что искупляло зло — человеческая гордость. Из всех, кто спускался в преисподнюю, только Горький вынес ответ — лишённый напрочь религиозного пафоса, который и кажется чуть не самым фальшивым в русской действительности, почти погремушкой. Что человек — звучит гордо, это было осмеяно так, будто по всей России полвека только и делали, что провозили вымазанный дёгтем голый блудливый лозунг на ослице. Что гордым может и должен быть последний человек в обществе — против этого всё протестует в обывательском сознании. Но на гордости русского человека и жидилось всё его же смирение: не на покорности, как это понимают благостные попики, и не на рабском послушании, о котором твердят умствующие интеллигентки, — а на гордости, уважении себя и других. Они-то, Хитровка и хитровцы, — это и есть тот народ, что в поисках в нём смысла был как будто уничтожен, а потом только униженность свою изывал в жестокости, в произволе, в толпе.

Событие из современной жизни. Всё происходило зимой в одной заурядной московской больнице. Привезли бомжиху, с узнаваемым возрастом, лет сорока. Была босая. Думаю, попасть в больницу надо было ей больше жизни. Таково было её состояние — человека, который соскальзывает по смертному ледку. Вменялось ей врачами «скорой» обморожение конечностей, те сообщили ещё, что бомжиха весь день ползала в скверике Киевского вокзала на карачках, не могла встать — люди это видели, подтверждали.

Врачи же в больнице, как только уехала «скорая», тут же бомжиху снарядили прочь. И так ещё обставили, что оформили её как отказчицу, что бывает, когда человек отказывается от госпитализации и решает болеть дома. И про неё говорить стали, что ли, играя: «Выводите её, она не будет ложиться, она хочет домой». Её с ходу ещё завезли на каталке в душевую, сразу на санобработку упрятали. Но когда решилось, что выставят прочь, то никто не захотел даже заглянуть в душевую, брезгуя даже её и выставить.

Старшая медсестра только сказала, чтоб ей дали тряпок на обмотки для босых ног. Тряпок ей кинули, но и с охотой позабыли, что она есть. Расшевелились только тогда, когда обнаружилось, что бомжиха втихомолку, затягивая время, в душевой разделась и усилилась даже в коридоре приённого вонь. Тут стали суетиться, как её скорей спровадить, и с порога душевой, заглядывая, стали её пугать, чтобы одевалась и уходила прочь. И как же было ей страшно — очутиться наконец в тепле, понадеяться на помывку, на жрачку, на покой, но с порога уходить неизвестно куда, ведь тут не Киевский даже, а всё равно что смертная пропасть — такая от вокзальной спасительной их норы даль. Здесь уж не выживешь и одной ночи. Морозец и так был, а тут ещё объявили по радио, что ночью будет минус тридцать. И в бесчувственном, полуживом, голодом мозгу явилась ей мысль вымочить своё тряпье. Понадеялась, что в сыром на мороз-то не выгонят. И когда застали её за этой постирушкой, то обозлились вконец. Распахнули все окна в душевой, уже

как бы выставив её на мороз, выкуривая из душевой холодом.

Она ещё цеплялась за туалет, что хочет по нужде — это их обречённая безысходная хитрость. Говорит, я же человек, куда же мне нужду справлять. И тут все кругом как озверели: человек?! человек?! Тот беспощадный напор, ор почти нечеловеческий и был ей приговором, только тогда она, кажется, и осознала, что места ей здесь нету и что наступил конец.

Всё сырое тряпье, которое не имела сил даже толком выжать, долго и мучительно напяливала — одеванье ей давалось совсем тяжко. На обмотки никаких сил ей уже не хватило — и по стеночке поползла. Но охранники ей запретили стенки лопать, и она уж выходила бочком, как по карнизу. Даже когда наружу выбралась, запрещали о стену больничную опираться, чтобы не замарала. Ещё хотели проверить на ней перцовую ударную смесь из баллончика, хотели в неё напоследок прыснуть и поглядеть, как будет действовать, но раздумали в конце концов мараться и дали выползти на мороз, только пригрозив, чтоб отползла подальше от больницы.

Это зверство обычной жизни каждый по-своему прожили обычные люди, но прежде того обернулось всё зверством именно по воле обычных людей — оглохших и слепых. Что я знаю и что могу сказать, не устраивая ни над кем показательного суда совести, — это что никто друг друга не смог возлюбить. Ещё скажу, много раз потом видя эту картину перед глазами, что никто не привык к этому плохому — всем было тошно, обрыдло. Привыка-

ет человек только к хорошему. Даже рецидивист ворует и убивает не потому, что привык к плохому, а потому, что ему неизвестно хорошее. А это хорошее есть только одно — уважение себя и других, простодушие гордости человека. Никто не мог себя уважать — и потому сделалось это зверство, где все были участниками и все-то были жертвами, хоть опять же это дико и несправедливо может звучать. Не были русскими. Не были даже в этой комнатухе больничной не то что из одного народа, но и рода человеческого. И так вот — перестали уже быть и людьми. Уважать в себе и в другом возможно только человека, именно человека, то есть самое общее и одинаковое, что есть в каждом и без всяких различий — человеческую жизнь.

Когда-то люди жили на Хитровке. Когда-то люди жили и в России. Были писатели и обыватели. Но теперь всё не то и не так. Путь к счастью, путь из преисподней: излечить в человеке униженность, всеми способами, какие есть у общества, бороться со всеми способами унижения человека. Уважение — и есть доподлинное сострадание. Для русских оказалось это слишком легковесным, незначащим — и теперь мы сполна ощутим, сколько весят и значат взамен идеальных вопросов о греховности и любви эти осмеянные, осквернённые слова о человеке, добытые со дна жизни — но там, где не кончается и поддыхает, а начинается, рождается из пьяни и рвани, греха и ненависти человек.

Б Ы В Ш И Е Л Ю Д И

Людей этих называют бомжами. Живут они воровством, попрошайничая, а то и как зверьё — на помойках, поедая отбросы, падаль... Всё дело в том, что у этих людей нет жилья. А раз нет жилья, то нет и прописки с паспортом. Если нет у тебя жилья да паспорта, то хоть умирай. Но сразу-то не помрёшь. И гонимый голодом, холодом, беспросветной угрозой побоев от милиции, да и от всякого загулявшего молодца, ты и выживаешь, как можешь, до самой смерти.

В советское время люди такого сорта запрятались в тюрьмы, лечебно-трудовые зоны, в психушки, что содержались худо-бедно государством, и воздух городов был чист. Тогда же местом их обитания стали вольные северные края и дальневосточные порты, где было легче затеряться, прокормиться. Север так и не был до конца осво-

ен, на их-то счастье. Бывших человекoв кормили шабашка, прииски, путина, шахты, куда самых жизнестойких и крепких охотно нанимали местные хозяйственники — без паспортов, но за меньшую плату. Вот как бывало, к примеру, в Магадане: с вечера тебя напоят вусмерть, а наутро в море очухаешься, одураченный, где принуждают работать на себя всю путину ушлые рыбаки.

Но кто бичевал в Магадане том, знать, давно померли. Давным-давно стало всё не так. Рыбы нет, говорят, да в морях пусто — дороговизна, ни души. Может, сами те рыбаки, запродав в прошлой ещё жизни харьковские да курские ненужные им тогда квартирки, но в одну ночь дружно всенародно обнищав, а за год свято поодиночке спившись, ловят пустыми черными ртами воздух, будто вытщенные из воды рыбины, издыхают на московском тепловатом снежку, выпучивая немые глазща на ставших огромными пешеходов. Конец века.

Нищие да бездомные были во все времена и во всех странах, но как есть пустыни, где невозможно укорениться даже травиночке и ползает, извиваясь, зыбучий один песок, так и непостижимо, против всех законов природы мертва, пустынна наша земля, разъятая на песчинки, блуждающие по её просторам. И мы всё говорим величественно о том, как покорялся простор этот громадный русским человеком, а надо бы вообразить вживую. Вот купчик, Хабаров славный, отправился заради царской соболиной казны пустыню амурскую покорять, да и как покорять — главное-то выжить суметь и до земли этой хоть дойти. Пускает-

ся он с отрядом казаков по рекам. Дорогой одолевая такое, отчего всякое животное подохло бы, люди эти русские доходят до заветной амурской земли. Да, богата земля, а люди, что дошли до земли той с Хабаровым, все силы жизни отдали на то, чтобы дойти, а больше и нет у них сил. Им нечего было есть, так что, стыдно сказать, у аборигенов земель этих покорённых русские прослыли не иначе, как людоедами, потому что поедали своих павших — не лошадей уж, людей. А потом отряд за отрядом по следам Хабарова уходили в Амурию. Из походов же этих, «даурских», не первооткрывательских, а уже свойских, возвращались живыми поменьше половины людей. Но ведь сколько поглотил жизней, сил народа только Дальний Восток — и даже воздвигнутая под конец века ценной неимоверной «скрепляющая» гигантская магистраль так ничего и не скрепила. Строители её да покорители живут бродягами в бараках, спиваются да кончают с жизнью, и нет у них силы, у этих крепчайших людей. А вот ездил Чичиков по губернии и скупал мёртвые души, чтобы сдать их в заклад казне, — это мы читали. Однако по законам тогдашним возможно было сдать в заклад пускай и «мёртвые» души, но только с землёй; сдавалась в заклад сама земля, а уже поневоле — и мужички с бабами, на земле этой живущие, трудящиеся. Гоголь поэму свою поэтому не иначе как сочинил. Купчих же на землю Чичиков у него в поэме никак не совершал. А если б совершал, то нечего бы и сочинять про «мёртвые души», потому как зачем же за них, за мёртвых, копейку выкладывать, это уже и есть абсурд. Потому правда

и крошечный сюжет русской жизни не в «мёртвых душах», а в «мёртвых землях» — в отчуждении мертвящем человека от той земли, которая должна ему быть родной и удабривается его-то потом, кровью.

Россия страна бездомная, а не бедная, равно как народ наш — в сути своей бездомный. Переселений народа, от малых до великих, была такая тьма, что никак не сравнится даже с пресловутым переселением славян. Петровские преобразования — это прежде всего гигантское переселение русского народа внутри евразийской пустыни. И всякое преобразование сопровождалось именно переселением, что и важно понимать; одно дело, когда человек остаётся на природном своём месте, а вокруг него изменяется среда социальная и прочее, а другое — когда разрушается весь мир и уклад жизни — человек отрывается от своей земли, и даже не человек, а сотни тысяч таких вот атомов жизни отрываются от земли и зашвыриваются в пустоту.

И в XX веке произошло величайшее переселение народа, крушение миллионов человеческих судеб и рождение миллионов уже судеб новых, то есть и нового какого-то народа. Ломка социальная ничто в сравнении с подвижкой, переброской такой народа. Кулаков не просто раскулачивали, но ведь не оставляли-то в своих деревнях, переселяли в казахские степи и сибирскую тайгу.

Остаток — на стройки из деревень, потому индустриализация была не чем иным, как вторым уж исходом. Не говоря о том, что и просто «переселялись» целые народы. Это был для России

и век трёх опустошительнейших войн — Первой мировой, Гражданской, Отечественной — рассеявших по свету несметное число народа. Такой же трагедией переселения обернулись сталинские репрессии, хрущёвское поднятие целины, брежневское объявление малых деревень для сельхозхозяйства «неперспективными», а теперь и того наглядней: произошла историческая и социальная ломка, но миллионы людей оказались не в «новой истории» или же в «новом экономическом порядке», а бездомными — они будто лишились в одночасье самой жизни, самих своих судеб; от России в одночасье отселились двадцать шесть миллионов, а столько ведь погибло только в войну. Целые города внутри России — а их десятки, таких, как Воркута и закрытый Арзамас, — которые воздвигались чуть не на костях, оказываются теперь ненужными и «убыточными», как бы и чёрными дырами, ну а люди-то живущие в них?

У русского человека нет и не было почти никогда в истории того, что называл бы я личной судьбой. Личная судьба — это всё, что создаёшь в жизни сам, но продолжая созданное до тебя: родовое, унаследованное, построенное трудами не одного поколения для будущих поколений. Это же и дает человеку опору важнейшую в самом себе, силу, независимость.

Есть понятный каждому вывод: если человек себе хозяин, то он и хозяин своей судьбы. Ну да понятно нам, что человеку у нас не давали быть хозяином, только он и похозяйствовал, что от крепостничества и до колхозов. Однако бесправие,

называемое экономическим, вовсе не есть доподлинное. Вся громадность угнетения человека в России держалась на чуде избытия человека в громадных её просторах. Нет, не тишайшая Среднерусская возвышенность, но азиатские степи, таёжная глушь, северная мерзлота избывали массы русского народа. Возможность такого пространственного неограниченного избытия, передвижки и родила ту машину управления народом, которая не сравнится по силе ни с каким угнетением. Управление это до наших дней состоит из двух механизмов: избытия с места и закрепощения по месту.

К месту, к земле приколачивался гробовым гвоздищем крестьянин: то Юрьев день отменят, то отымут паспорта, а то истребуют непосильный денежный откуп, плату арендную. А города людей брали за горло той же мёртвой хваткой: паспортом, лимитом, пропиской, без которых не будешь иметь работы. Это бесправие «по рождению», усечение в правах, как у незаконнорожденных. Избытие же с места — это вечная наша Тмутаракань, куда возможно сослать или переселить сколь угодно лишнего, неудобного народа, а главное, что ведь и следа его не отыщется, человек-то что песчинка.

Сколько народу сгинуло в ГУЛаге — бесследно. Сровнялись с землёй, исчезли также без следа сами эти лагеря. И дело не в том, что не было правды, и не в тайне истребления, избытия миллионов человеческих жизней. Это дикое пустынное пространство оказывается тайной, уничтожает след человеческий и хранит десятилетиями без-

молвное молчание. Таким архипелагом безмолвным стала, по сути, и армия. В практику армейскую, и ведь не война-то, а мирное время, заложен был тот же принцип управления человеком. Нельзя было служить по месту рождения, обязательно и направленно рассылался и разбрасывался народец: киргизов гнали служить в Сибирь, а сибиряков — в Киргизию. Взбунтовавшихся рабочих в Новочеркасске расстреливали при Хрущёве солдаты-нацмены. А в конце 80-х, во время ферганских событий, уже русских-то солдат, пригнанных служить в Узбекистан, и бросали в чужие, страшные для них Фергану, Наманган подавлять волнения в тех областях. Но и жертвы и каратели — суть одно. Так уже в Чечне одинаково бесправными и ничего не значащими в «масштабах государства» оказывались и солдаты, и жители — тот самый российский народ, с разве что небесной родиной и заступницей, но без права на мирную жизнь здесь, в России, каждый в своём доме.

Жить стало втрое трудней и сложней. Требуется уже надрыв сил, чтобы просто остаться человеком, облик сохранить человеческий, а не опуститься, и нет речи даже ни о какой «опрятной бедности», потому что бедность и нищета наступает для многих чуть не через месяц, как лишаются они по какой-то причине средств к существованию — человек лишился давно опоры личной, в себе самом, но и мир окружающий, общество не даёт ему теперь никакой опоры, выживает каждый сам по себе, и это есть наш «капитализм». Лозунгом капитализма этого было то, что богатые

люди сделают и Россию богаче, но эти богатые люди, а они действительно уже многие сказочно стали богаты, даже в Москве ни одного-то бездомного не захотели тарелкой супа одарить; даже одного приюта или столовки в городе банков, отелей, казино, нефтяных компаний, заводчики-то их не организовали. А ведь деньги не делаются из воздуха; мы с некоторых пор подзабыли, что богатство — это то, что изъято ловким и умным человеком в свой карман из общего, читай — национального дохода. И разве не ясно, что толику этого дохода должно вернуть тем, кого чьё-то накопление богатств лишило не хлеба с маслом, но последней, что капля крови, копейки — кто и просит-то по копеечке и нуждается-то в тарелке похлёбки, чтобы дожить хоть до завтра.

В советское время была статья знаменитая о бродяжничестве, но теперь статью эту отменили. Всех не прокормишь. Бубнили о правах человека, но, тюремную-то баланду отняв, даровали только право умереть с голоду. Нынче голодают и те, кто в квартирах: одинокие забытые старики. Они приходят еду просить в больницу, надеясь, что истощение голодное — это болезнь. Но такой болезни нет и еда — не лекарство. Платят им такую пенсию, что не хватает на хлеб, а лечить в больницах от голода отказываются. Бездомный в Москве может выжить от зимы до зимы, не больше года. Зацепиться, устоять не дадут — сегодня ты лишился крова, а завтра уже заживо гниёшь. Эти заживо гниющие — уже не люди, но не в том смысле, что они «нелюди», звери; человек, если уподобляется животному и существовать начина-

ет как животное, тогда и утрачивает жизнь. Это уже живые трупы — без одного, без трёх дней как мёртвые, но смерть эта — и не смерть для них. Допустить человека до такого состояния, до вшивости такой и вони — и, значит, убить, это — обыкновенное убийство. А бомжи, попадая, к примеру, в больницу, всегда требуют к себе уважения, «как к гражданам», и все их истории — про то, что они были люди работающие, и если даже врут, плачут и верят свято в эту ложь. Или говорят, что они честные «пенсионеры» и многие и вправду тычут пенсионную книжку, только где же они по ней деньги получают, ведь и чтобы пенсию получать, надо прописку иметь, даже если заслуженная она, честная. Ну да эти рассказы — до первого окрика и удара палки милицейской. Тогда бездомные замолкают и покорно уползают. В больницах их обязаны принимать, «как граждан», но даже ползающих на карачках ни за что не берут — вышвыривают прочь. В случаях таких пишется врачами, что «больной от госпитализации отказался». Они, чтобы их приняли, особенно в зиму, попадали в больницу босые, думая, что босых не выгонят на мороз, но эта их хитрость теперь-то не действует — «скорая помощь» от больницы отъехала, ну и ползи обратно босой.

Я видел паспорт, стоит штампик загса, что человек в 93-м женился, значит, состоятельным был, мог хоть свадьбу сыграть, но вот зима 96-го: этот человек уже бомж, то есть труп. И что такое «бомжи» — это милицейское клеймо, есть ещё «зэки», то есть заключённые, а были и «казры», «чеэсы» — контрреволюционеры, члены семьи репрессиро-

ванного... Только бы людьми не называть или согражданами, тогда ведь с него, с государства нашего милиционерского, да и общества, другой будет спрос. Горько, что в народе это словцо прижилось, что и в народе иначе не говорят. Но ведь в здоровой сильной половине народа и стараются, как могут, совесть усыпить, даже и ненависть разжечь.

Слышали, что у нищих кучи денег, что они из обносков переодеваются в шубы и жируют на вашу милостыню? Слышали, что бомжи это тунеядцы, пьянчуги, которые продали свои квартиры — так им и надо, это наказание за порок! Слышали, они вшами нам угрожают, сифилисом, туберкулёзом? Что они наши вокзалы изгадили?.. Но попробуй переодеться в обноски, постой хоть час на морозе, может, разбогатеешь, хоть тогда и поймёшь, что это за труд — унижаться и обморазиваться. Да и кто побирается на твоих глазах, разве розовощёкие, сытые на рожу, ведь старухи да инвалиды, ничего не понимающие дети. И таких, безвинных, теперь и больше — беженцев, душевнобольных, заброшенных детей, вышедших из тюрем баб да мужиков, но опустившихся именно без работы, ненужных больше людей. У них тот туберкулёз, который никто не лечит, — и потому, что не лечат. Они спят на вокзалах, потому что больше им и негде спать. Они напиваются допьяна, но чтобы довести себя до бесчувствия, иначе попробуйте ходить раздетыми по морозу и так, как они, существовать. Как же они теперь порочны, если голодают и замерзают, если умирают. Страдание, мучение — это ли порок? Когда недав-

ней зимой бездомных по приказу градоначальства, дабы очистить эти самые вокзалы от скверны и угодить москвичам, погнали за сто первый километр, то сколько вымерло их в пустынных Калуге, Александрове, Твери, никто и не считал.

Никто и не считал.

РАБЫ В СОЛДАТСКИХ РОБАХ

В казарме солдатской есть такая рабская надежда, когда уже не на что становится надеяться, а сил хватает, только чтоб не утратить рассудок от каждодневной рутины побоев, унижений, муштры, полуголода и недосыпа: все ждут конца. Но все хотят выжить. И даже если ты думаешь о смерти, то хочешь дожить до того дня, когда руки наложит на себя другой. Если грезишь как сумасшедший убить мучителей, то дожидаясь не иначе, когда у другого первой сдадут нервы. То же самое и с мыслью о побеге. На одного дезертира — десять солдатиков тех, кто выживал в казарме ради мысли сбежать. Должна быть надежда, такая вот каждодневная, что и боль твоя, и в этих мыслях ты её обретаешь — выживаешь. Бегут же, кон-

чают с собой и совершают преступления не те, кто слабей физически, а у кого не выдерживает душа. Кто надорвался, устал ждать конца, тот потерял надежду, а с ней — и свободу, жизнь. Такой солдатик выбрасывается из глухоты и черноты казарменной навроде горящего факела. Он сгорает с последней истощенной верой — что станет наконец известной правда! что простят за правду! успеют спасти!

Дело рядового бригады по охране объектов центрального аппарата Минобороны Романа Минина стало известно в апреле 1997-го за три дня непрерывных репортажей и информационных сообщений всей России и, наверное, всему миру. Одно из многих, многих таких же... Три дня — иезуитской лжи. Три дня — стыда и позора, который и пытались скрасить уже не иначе, как перед мировой общественностью, ведь вещали наши общенациональные телевизионные каналы, агентства и т.п.

Целые сутки вообще ничего не сообщалось. Если бы дезертира быстренько обезвредили или след его простыл из Москвы, то никто бы так и не узнал о его судьбе. Был человек — и не был. Но автомат — выстрелил, и не где-нибудь, а в центре столицы, в близости невероятной от самого Кремля! Первая розовато-сладенькая ложь, озвученная в новостях общественного российского телевидения, что рядовой Роман Минин бежал из части, «получив известие об измене любимой девушки», — была ложью именно не для ушей российского слушателя, которому давно известно, отчего бегут голодные, забитые солдаты, да при-

хватывая-то ещё натошак оружие. Романа Минина рассчитывали изловить до утренних выпусков новостей. Но когда и к началу новых суток дезертир оказался не пойман, то ложь изменила свой характер, оставаясь, однако, удобной для тех же «сказок новой России». Стали сообщать о психически ненормальном солдате — так, что можно было подумать, будто бы новый русский солдат Роман Минин получил известие об измене любимой девушки и сошёл от ревности с ума. Между тем в руках у бригадного генерала Зенькова были, не могли же не быть, те письма, которые всего-то через день зачитывал он с такой помпой в телекамеры. Имеется в виду «полное мата» письмо отца к сыну, в котором любовью никакой и прочими телячьими нежностями не пахло, а шибало воню — полной мата жизнью, которой, думается нам, только генералы и только в Москве подзабыли вкус, запах и цвет.

Лгали «со смыслом», с идеологией. Лгали те, кто заботится не о сермяжной чести мундира и служебном благополучии, но о чем-то большем — о благополучии жизни общественной. Потому независимые средства массовой информации узнавали и сообщали больше правды, а зависимые от своего благополучия — больше лжи. Но уже в обществе правда мешалась с ложью и нельзя было ничего в сумасшествии этом изменить. Роману Минину выносили приговор за приговором, управляя и сознанием общественным, как рабом. Чтобы изловить Романа Минина, нужен был такой террор, чтобы каждый московский обыватель трепетал в ужасе и жаждал его по-

имки, даже смерти — и вот сообщалось, что есть жертвы. Дезертир ранил! Потом — дезертир ещё расстрелял, убил человека!

Никто так и не объяснил, откуда взялась эта дикая ложь. Милиция не справлялась своими силами. В больницы, школы и т.п. в округе Хамовников, Лужников ходили милицейские чины, оставляя ксерокопии фотографий дезертира и сообщая, что вполне-де вероятен захват заложников этим маньяком, которому нечего уже терять. Однако ни в одной школе или больнице этого жизнеопасного района не был выставлен для охраны ни один вооружённый милиционер. Оставался ужас. Да, и матери звонили в ту же милицию, спрашивая, пускать ли им на занятия школьные детей. Предупреждали автовладельцев, чтобы остерегались человека в камуфляже. Всех подозрительных в камуфляжах хватали три дня по всей Москве. Но это и было, как ни дико, ситуацией общественного благополучия, общественного порядка, общественного единодушия и примирения. Казалось, что избавляют чуть не всю Россию от бремени дезертиров, в том же масштабе, точно бы начали травить на дух не тараканешку, а всё их семя, всех этих вредных насекомых, не мышку серую, а всех этих расплодившихся паразитов-грызунов.

Трагедия бесправия и затравленности человека — по сути трагедия рабства, когда человек не принадлежит сам себе и жизнь его сжёвывается без вести в той рабской армии, как рабсила, оказалась с помощью лжи обращённой в криминальную хронику, телевизионный триллер и эдакое

уже-то массовое и зрелище, и судилище: общество против беглого солдата Романа Минина!

Однако неслыханная огласка, когда достоянием общественности стала даже личная переписка, неизвестно каким образом добытая, ведь писал отец солдата, а получателем был — не генерал же бригадный Зеньков, окончилась вовсе не вынесением приговора. Все обнаруженные за три дня факты повисли в воздухе от одного только явления живого Романа Минина, при первом же взгляде в сторону газетных репортёров и телевизионных камер тех живых затравленных солдатских глаз. Милиция взяла его спящим на чердаке заброшенного дома, где дезертира приютили и скрывали сознательно бомжи. Если верить газетным сообщениям, то один из бомжей и продал беглого солдата милиции — за сорок тысяч рублей. Сами репортёры сознавались, что испытали при виде Романа Минина шок и потрясение, видя не маньяка и т.п., а затравленного, ничего не понимающего тщедушного паренька. Так обнаружилось, что Роман Минин не помешанный и жаждущий крови преступный тип, а жертва преступления, рутинной казарменной преступности.

Теперь, когда со слов рядового Романа Минина известно, что он бежал из части от побоев и поборов, дело его обретает давно привычный поворот, но становится закрытым для слуха и глаз. Иначе сказать, мы больше ничего не узнаем об этом солдате. Факел живой — вспыхнул и погас.

Длительное тюремное заключение должно покарать Романа Минина если не за дезертирство, то за кражу оружия и за пенсионера Астахова, ко-

того он легко ранил по случайности, но и по той же случайности, в завязавшейся борьбе, мог убить. Хотя Роман Минин и бежал, но уже за воротами части бежать было ему некуда. Он отсиживался остаток ночи в подъезде первого попавшего дома. В одиннадцать часов утра на солдата с автоматом наткнулся пенсионер Астахов, да и только потому, что выносил мусорное ведро. Астахов спросил солдата, что он тут делает. Солдат испугался — наставил на пенсионера автомат, но тот не попятился, а устремился обезоруживать дезертира, оставляя Роману Минину, о котором ничего-то не знал, только одно такое же инстинктивное движение — стрелять. И что тогда, стреляя вслепую в невинного Астахова, солдат и сам был жертвой, нацеленной-то на выстрел той силой, что мучила его в части и сорвала из караулки в бега, — этого в уголовный кодекс не уложишь.

Солдат не готовил побега и не был вырождением в примерной бригаде охраны, как это внушал в своих показаниях прессе бригадный генерал Зеньков. Среда этого армейского подразделения была преступной, и все факты, приведённые генералом Зеньковым на срочно собранном «брифинге» в стенах казармы и на пресс-конференции постыдной в Минобороны, сами-то себя разоблачают.

Факт, что рядовой Роман Минин по результатам тестирования попал в группу солдат, которым можно давать оружие в руки только в крайних случаях, действительно говорит о многом. Солдаты такой «группы» в караульных подразделениях становятся сразу же чем-то вроде служек:

их службой становится — тазик с тряпкой и т.п. Пять месяцев такой службы, когда Роману Минину то и дело «не доверяли» автомат, значили для него только унижение и прозябание, но нужны ведь в бригаде не только примерные караульные — а ещё и такая вот второсортица, рабсила. Факт, что Роман Минин пытался поднять свой авторитет в бригаде рассказами о «крутой» жизни на гражданке (надо понимать — бандитско-рэкетирской), как раз и доказывает преступность отношений в бригаде. Этими разговорами тщедушный Роман Минин не пугал сослуживцев, а только и пытался дорости до их «крутого авторитета». Он пытался стать своим в рэкетирской среде бригады, ведь первое его показание после поимки — что вымогали деньги; что не мог рассчитаться с долгом, который накопился после того, как три раза «бесплатно» сходил в увольнительную, то есть не заплатил положенную в бригаде дань.

Вымогали — от пятидесяти до ста пятидесяти тысяч. Кто не приносил, возвращался в казарму с прогулки по московским улицам с пустыми руками, — тех били, заставляя не иначе-то попрошайничать или воровать. Докладывая прессе о борьбе с неуставными отношениями, но и желая подчеркнуть ничтожность «очага», бригадный генерал обнародовал цифры: по факту неуставных отношений возбуждено-де тридцать дел. Но в какую статистику превращается это число? Зеньков нам поведал о тех, кого покарали: тридцать дел — это тридцать «крутых» солдат, которые поймались, а сколько не в карцерах сидят, а гуляют на свободе, кто-то ж вымогал деньги у Романа

Минина в стенах казармы, неподвластный этой генеральской парадной отчётности? Ну а сколько Мининых у них в жертвах? Ясно, что таких опущенных солдат и жертв куда больше, чем их мучителей. На тридцать «крутых» солдат в бригаде у генерала Зенькова должно быть и вдвое больше оскорблённых да униженных.

Роман Минин продержался в бригаде пять месяцев. На большее у него не хватило терпения и сил, да и скопились-то неоплатные долги, накрепко и безысходно попал в кабалу. Факт, что он выпрашивал у сослуживцев, какой срок могут дать за дезертирство, доказывает не подготовку его к побегу, а то безысходное одинокое состояние, в котором он оказался, если только сослуживцев его не подучили перед камерами наврать. Почему не было у Романа Минина другого выхода, выбора? И на этот вопрос даёт нам яснейший ответ всё тот же генерал бригадный Зеньков. Что ждало Романа Минина, обратись он к вышестоящему своему начальству? Что сделал бы генерал, узнай он о поборах и побоях, царящих в бригаде? А какие выводы сделаны были на пресс-конференции в Минобороны? Один-единственный, что рядовой Роман Минин — недоразвитый, то есть, если буквально понимать, дебил, который в армию попал служить по врачебной ошибке, недосмотру военкоматов. Круговую поруку, заговор преступный молчания также продемонстрировал нам наглядно сам генерал Зеньков, когда солдаты заученно твердили журналистам под его присмотром, как хорошо им и дружно живётся в бригаде — такие показания дадут они и в суде.

Роман Минин виноват, что не застрелился, получив в руки автомат. Но и другим, даже тем, кто мучил его, он не желал смерти всё потому же, что и сам не умереть хотел, а жить. Он понадеялся сбежать, прихватывая автомат на продажу вместо того, чтоб устроить бойню кровавую в карауле, каким способом сводили счёты с жизнью до него уже многие затравленные, отчаявшиеся солдаты. В ночь его побега в карауле не было ни одного офицера. Начальник караула — не офицер, а сержант, которому на всё наплевать. В ночь побега все спят, так что, никем не замеченный, не остановленный, Роман Минин оставляет пост, нагружается автоматом с шестью полными под-сумками, минует призраком контрольно-пропускной пункт... А кто же нёс службу, был ли хоть кто-то, кто не спал в карауле? Да, был — Роман Минин, отстоявший к исходу ночи уже три смены, не иначе-то «один за всех». Девять часов без сна, то есть целиком бессонная ночь. А наутро он должен был опять служить, не спать. Сутки подряд без сна — что это, если не пытка, о которой знали, в которой участвовали все в элитной бригаде, кто преспокойно в ту ночь спал, включая и генерала Зенькова.

Дело Романа Минина — как огромной силы взрыв. Годы 70-е, в кромешной безвыходной глухоте которых и достигло насилие в армии такой ожесточённости, однако, давно миновали и остались вовсе без осознания. Первый раз эта сила боли и гнева вырвалась наружу, в общество, в конце 80-х годов, когда солдат внутренних войск, литовец по национальности, расстрелял по пути сле-

дования в завагоне весь караул, а впоследствии был признан невменяемым, то есть почти оправдан, что было непостижимо для того времени, такое милосердие иезуитское власти.

Этот случай, только один из многих, стал своего рода детонатором: о нём написали, сняли, кажется, документальный фильм, а потом и художественный. Железный занавес армейский обрушился. Как некогда узнавали правду о сталинских репрессиях, с таким же потрясением советское общество открывало для себя правду о ГУЛаге армейском. Поляковым зачитывались, как и Рыбаковым. Но ситуация в армии взорвана была в конце 80-х не столько гласностью, сколько отменой брежневских военных кафедр и льгот от армии для студентов. В армию поголовно погнали детей совслужащих, интеллигенцию во втором поколении. Пареньки из простонародья, рабочие да колхозники, мучились-то безгласно, только и умели, что мычать глухо от боли, привычные к мордобою и т.п. Образованная городская молодёжь стала в армейских условиях неслыханно страдать да вымирать, вопить и — что самое важное — сообщать обществу правду, а снаружи — росло волнение и возмущение интеллигенции, чьи это были дети. Невменяемость стала на несколько лет своего рода разрешением дезертирского вопроса, а это и был главный вопрос для интеллигенции в армии — получили возможность негласную бежать. Планы по призыву тогда ещё выполнялись, и дезертиров не судили, а списывали чаще всего с психическим диагнозом, ставя им шизофрению и т.п., как только доказывались факты, что солдат

был жертвой неуставного насилия. После развала страны, в новоявленной Российской армии дезертирство стало уже массовым явлением. Служба в армии стала походить на детский сад — за солдатами приезжали родители и сами их забирали из частей. Дезертиров почти не судили. Стоило явиться с повинной — и большинству давали право служить в новых частях.

С сентября 1946 по 31 декабря 1990 года в Вооружённых силах СССР в мирное время погибло 310 тысяч человек — это кровавое пятно на армию Российскую не легло. Между тем начался новый отсчёт смертей, молох требовал новых жертв. Покаянные растерянные дезертирские амнистии начала 90-х сменились потихоньку судами, стали закручивать гайки. Армия хронически недобирает солдат, от призыва уклоняются тысячами — и эти уклонения есть, по сути, новая форма дезертирства. От повесток бегают, но ссылки на закон об альтернативной службе уже не защищают — всё больше случаев, когда забирают в армию насильно, боём. Однако недобор в армию связан не с уклонением от службы, а с невиданного масштаба коррупцией, когда откупаются в военкоматах от призыва. Это явление, покупка и продажа освобождающих от службы медицинских диагнозов, отсрочек, такую же приобрело массовость, что и воровство да продажа с армейских складов оружия. Служат теперь беднейшие, а состоятельные — без труда откупаются. Образованному слою, студенчеству, дарованы привилегии в виде системы отсрочек, искупающие при новом экономическом и политическом порядке нищенские

стипендии. В армии сложилась ситуация по сути схожая с 70-ми годами. Эксперименты со сроками службы, социальная однородность, но и озлобленность на фоне тягчайшего морального разложения армейской среды, как таковой, и деградации корпуса офицерского, скудное полуголодное существование — адская смесь.

С середины 90-х годов один за одним происходят армейские мини-чернобыли. Обществу становятся известными, но и забываются скоро вопиющие факты о трагедии уморенных голодом матросов на острове Русском. В марте 1995 года — трагедия на острове Танфильева, где два затравленных пограничника расстреляли на погранзаставе девять человек и подбили вертолёт. За содеянное Дмитрия Белькова и Андрея Богдашина — приговорили к высшей мере наказания. Этот расстрельный приговор захлопывал ад армейский безвыходно, наглухо. Трагедия на острове Танфильева была знаком, что в армии жертвенное дезертирство вот-вот сменится снова массовыми бойнями. И вот следующий взрыв — в июле того же года пограничник Вячеслав Бугаков на острове Попова, уже дважды сбежавший, но и заключавшийся обратно в часть, не находит для себя в очередной раз никакого другого исхода, как расстрелять весь личный состав заставы, где его мучили. Однако общество безмолвствовало!

Многое списала и заглушила война в Чечне. Говоря о потерях в армии, именно из-за чеченской войны мы привыкли слышать уже о тысячных потерях, теряя в цифрах даже ощущение, что они-то человеческие, а не падёж это скота. Обществу бы-

ло внушено отношение к армии такое, точно бы не в мирное, а в военное время. Армию окружили не занавесом железным, но туманом свинцовым из военной реформы. Что скрывается за тем кафкианским туманом, не проглядишь — тасуют как колоду карт рода войск, военные округа, оборонные доктрины и т.п. Из общества нас почти превратили в публику, равнодушную, аморфную, послушную в своей массе, и если общество требует правды и справедливости, то публика — хлеба всего-то да зрелищ.

Для рядового Романа Минина, такие вот времена, автомат был даже не оружием, а средством к существованию, и он надеялся продать его, только и зная, что стоит немалых денег. Он родился в городе Кирове, теперь — Вятка, окончил с трудом восемь классов, а потом курсы трактористов и работал по специальности; несовершеннолетний, попался в милицию; семья, старшее поколение — все безработные, имеет ещё двенадцатилетнюю сестру. Таких городов, как Вятка, — вся Россия, а семей — миллионы. Но с такими, с чумазыми, больше знаться не хотят. В деле Романа Минина позвонче, чем дезертирство, прозвучала именно эта нотка, что в Москве цивилизованной и т.п. было ему не место. А где ему место? Туда его, недоразвитого, посадить обратно за трактор, или туда его, подонка, в тюрьму.

Роман Минин был виноват, что не успел стать пушечным мясом на чеченской войне. Виноват, что по этой статье расходов не списали. Тогда бы и покоя общественного не нарушил, и родине бы с пользой послужил. А он — хотел жить.

Ч У Ж А Я И М П Е Р И Я

Тревожили чеченцы набегами границы Российской империи — между чеченами и казаками это было задушевной враждой, грабили и те и другие. Но в пограничной вражде наши народы так и не сделались бы врагами — больше известны случаи куначества между горцами и казаками. Теперь чеченцы и русские — враждебны именно как народы. Русские пошли покорять горские народы, расчищая Российской империи пути на Юг. Империя не смогла решить «чеченский вопрос», поглотила Чечню, но не проглотила. В расплату за это — состояние непрекращающейся «гражданской войны» с чуждым своенравным народом.

Судьба малых народов под боком у империй только в другие эпохи была предрешена. Они делались разменными монетами в масштабных международных договорах, их территории в масшта-

бах имперских войн рассматривались всегда как буферные — то есть как территории для выяснения отношений между империями. Россия остаётся империей вплоть до нынешнего времени, однако возросло значение судеб малых народов в мировой политике. За их территории идёт борьба и по сей день всего лишь как за буферные, но их свободу внешне отстаивает уже всё мировое сообщество. Даже не обладая суверенитетом, они, эти народы, албанцы или чеченцы, являются субъектами международного права — международных деклараций о правах человека. Бескровно отошли от империи народы, вполне сравнимые по численности с чеченским, — скажем, эстонцы. Но из Чечни империя уходит с боями, всё ещё осознавая чужое там как своё, кровное. Живя по законам нового мирового порядка, состоя в «европейских советах» и так далее, Россия продолжает войну, история которой уходит корнями в почву ещё двух веков, да и с народом, не признающим других правовых норм, кроме кровной мести.

Русские — имперская нация, но кто осознает сегодня в России государство как своё, в каких границах? Чеченская война даёт на этот вопрос свой однозначный ответ: если ещё возможно силой оставить национальное меньшинство в составе имперского государства, то нельзя никакой силой остановить исхода русских с тех земель, где они сделались изгоями. Это прежде всего русские стихийно отрицают границы собственного государства и больше не представляют для себя жизни в составе мстительной мусульманской

Чечни, где всякое его, имперского государства, присутствие, кроме военного, — давно уже мнимость. Могут сказать: исход русских как раз и остановит военная имперская машина, подавляя волю чеченцев к независимости, и не было бы этого исхода, примени государство ещё раньше силу. Но ведь применяло, да и не раз... Имперская сила, пусть и под названием «советской», всего каких-то пятьдесят лет назад прошла катком по чеченцам: выселяли всем народом в 40-х годах, и сталинская эта тактика «переселения» была даже гуманней ермоловской тактики «выжженной земли», но жертвы среди чеченцев всё равно были огромны.

Что ненависть чеченцев к русским естественна и неотвратима, как месть, — об этом почему-то не говорят со всей ясностью. Когда в 90-е годы выплеснулась она на русских насилем, сродни такой же этнической чистке, то об этом-то опять же умалчивалось. Чеченцы мстят русским, а нам талдычат про какое-то их «неподчинение федеральным законам», как будто это какие-то марсиане спустились в Чечню с небес и нарушают порядок, который там-то на деле возможно установить не иначе, как превративши эту землю в пустынный марсианский ландшафт.

Во время войны понятие «мирное население» не существует. У нас пеняют на американцев — для тех Югославия была таким же объектом бомбардировок, а нас-то учат они соблюдению прав человека в Чечне. Но эти бомбардировки югославских городов были настоящей войною: блок государств совершил нападение на суверенную стра-

ну. Чеченцы — граждане РФ, тогда как сербы оставались сербами, а не числились как граждане за какой-нибудь Миннесотой или Арканзасом. И тогда война в Чечне есть действительно война государства со своими гражданами. Тогда население Чечни мы признаём на основании своих же законов сплошь как сограждан и ведём против них же боевые действия.

Что это за война, где солдатам стреляют в спину, а бомбят в осаждённом городе как раз тех, ради которых идут на его штурм? Что это за война, где для тех, с кем воюет Российская армия, амнистия следует за амнистией и принимают решения о ней не кто-нибудь, а депутаты российского парламента? От уголовного преследования по заверению властей освобождаются те, кто не запятнали себя массовыми убийствами, однако если они участвовали в боевых действиях, то каждый из них повинен в смерти пусть даже нескольких солдат. В то же время солдаты федеральных войск за преступления, совершённые на территории РФ, то есть в Чечне, несут уголовную ответственность, очевидно, даже за кражу чеченской курицы с голодухи, и для них нет амнистии. Вину чеченца, даже пойманного с оружием в руках, требуется доказать, то есть в условиях войны вина человека с оружием в руках, оказывается, должна быть доказанной, хотя яснее ясного, в кого же он из этого оружия стрелял... Но это «гражданин Российской Федерации» — и вот подайте свидетелей, что именно этот боевик повинен именно в этом преступлении, а иначе он может быть привлечён к суду разве что за незаконное ношение

или хранение оружия. Жизнь любого Басаева, хоть бы он питался печёнкой русских солдат, охраняется нашим законом: нет, его не казнят, ведь он «гражданин Российской Федерации», а в России отменена смертная казнь. Чеченцы требуют от России соблюдения своих гражданских прав, требуют тёплых палаток и снабжения едой в лагерях беженцев, тогда как статус российских граждан в чеченских аулах в подобной же ситуации — это в лучшем случае рабство, голод, бесконечные побои от хозяев, зинданы... Более абсурдной войны Россия ещё никогда не вела. Мы разрушили их дома в отместку за то, что они взрывали наши; почти в каждой их семье есть убитые в столкновениях с нашей армией, а каждый день этой войны, как и бывает на войне, плодит разве что взаимную ненависть. Однако тех, кто вправе лишь ненавидеть русских как кровников и презирать как неверных, наделяем мы правами своих сограждан. Отсюда эта война на каждом шагу оборачивается абсурдом или предательством. Нет ни мира, ни войны. Она подобна переливанию из пустого в порожнее — только не воды, а русской и чеченской крови.

Русские во всех смыслах оказываются такими же жертвами этой войны, что и чеченцы, но их положение в этой войне бессмысленней, обречённей: погибают на войне русские солдаты, понимая так, что пришли на эту чужую землю, конечно, не заради «восстановления конституционного порядка», а чтоб сдерживать чеченцев силой, избавлять от них если не Россию, то русских в самой Чечне и по её границам. Однако русское

население, во-первых, удерживается, не отселяется на спокойное жительство в Россию, потому что без него этнически чистая Чечня будет совершенно абсурдна в составе РФ, — а, во-вторых, оказывается, имеет прав на гуманитарную помощь от государства даже меньше, чем чеченское. В глазах «международной общественности» разговора о русских беженцах или жертвах войны и подавно нет.

Русские в Чечне окружились блокпостами, засели в комендатурах, а если гражданские, то живут лишь под их прикрытием — а кругом чужая нам земля, по которой даже войсковые колонны не могут ступить без усиления бронетехникой, разведки, прикрытия с воздуха. Кто и когда станет здесь жить? Зачем? За что?! Мы воюем с чуждым и враждебным нам народом — через десяток лет подрастут сироты, эдакие талибы, что будут ненавидеть Россию и русских ещё крепче своих отцов, которые хоть были воспитаны как советские люди и что-то имели с нами общее. Людскими потерями в Чечне оплачивается сегодня не настоящее и даже не будущее русских на этой земле. Русские на этой земле жить уже никогда не смогут, такая война — это бессмысленный захват земли, непригодной для жизни, хотя, конечно, непригодной только для жизни русских людей.

Чеченский народ нельзя уничтожить — а значит, нельзя подчинить. Ну, не пожжёшь все их мирные аулы, не выселишь всех скопом в какую-нибудь мёртвую дикую степь — прошли те времена. Поэтому преступно и абсурдно воевать в Чечне только ради того, чтобы разорить тиш-

ком ну хоть ещё одно сельцо или похватать да сгноить без вести в фильтрационных лагерях хоть сотню мужчин, способных взять в руки оружие. Всё это делается с надеждой, что чеченцы всё же могут быть сломлены или запуганы и начнут сами наводить требуемый от них порядок. Даже если вообразить, что в Чечне может восторжествовать наш закон и порядок, то всё равно будет это такой порядок и закон, как в исправительно-трудовой колонии: внутри сплошь зэки, то есть чеченцы, а по периметру вышки с автоматчиками. Как осужденные по закону лишь отбывают наказание и порядку подчиняются разве что на зоне, так и чеченцы лишь под дулами автоматов будут отбывать своё российское гражданство и подчинятся нашим законам: они не могут быть гражданами России, такими же, как и мы, прежде всего потому, что этот народ воспринимает нас врагами. Мы никогда не перекуём хоть половину чеченцев в активистов нашего режима, даже если и поселим ужас на их земле. Зато за каждое чеченское сельцо, за каждого чеченца Россия платит взрывами в своих городах и кровью своих солдат. И выходит при этом абсурде, что страх перед этой войной поселяется уже в нашем народе, на нашей земле, в наших городах.

НАША ВОЙНА

В доме моего деда была большая военная библиотека с мемуарами командующих армиями, тактическими учебниками и другими почти научными книгами о войне. Среди этих книг выделялись несколько одинаковых красных томов, каждый толщиной как два, а то и три кирпича. Назывался весь этот тяжкий бумажный груз «История Второй мировой войны». Когда я однажды подростком пролистал только одну из книг, то был поражён, найдя в ней отдельные карты сражений за маленький остров в Тихом океане и за все ничтожный оазис где-то в африканской пустыне. Всё время, сколько смотрел военные фильмы и слушал уроки истории в школе, война казалась только нашей, ведь и названа Великой Отечественной, — но разодран был войной на куски, выходило, весь мир, даже неизвестные острова.

Вторая мировая война — своя у каждого народа.

Историческая память о ней народов и сама её история похожи на лодочки и реку. Про реку нельзя сказать «плывёт». Она течёт, ею движет неумолимая единая сила. Ну а лодочки, чужие друг другу, плывут по ней, по реке, хотя и кажется, что волокут за собой реку.

Что народы помнят и понимают о войне — только наплывает поверх исторических событий. Но историю всё равно подменяет память, и мы всё равно в каждое время будем знать и понимать только то, что воспримем как своё и в чём увидим свой национальный подвиг. Сторону противников воспринять нам почти невозможно, и она нам, естественно, чужда. Но чуждое и родное в отношении Великой Отечественной войны именно теперь, в новом времени, смешалось. Наше национальное достоинство оказалось унижено под конец века ощущением исторического поражения. Всё советское испустило дух, а между тем оно и было для нас как своё, родное. Историческая память советских людей о войне во многом была воспитанной тем, что называлось «пропагандой». Но не всё, внушённое в советское время о Великой Отечественной войне, было фальшивкой. Фальшивки никогда бы не родили веры в образ войны святой и освободительной, не будь в самих людях толики этой святости и готовности к бескорыстной жертве.

Что же было внушено? Или иначе: что мы знали и помнили о войне всего десятилетие назад? Знали о вероломном нападении фашистской Германии. Фашистской — значило уже совершенное воплощение зла. Образ войны с фашистским злом

будто бы отменял политические расчёты и мотивы, свойственные вообще войнам. Наша война началась в одночасье, но как бы в продолжение вечной борьбы добра со злом, где зло посягает на добро только по той причине, что, как и положено ему, хищно стремится овладеть всем миром. Наша страна, воплощающая идею всеобщего равенства и братства — такое же совершенное добро, — встала препятствием на пути фашистского зла к власти над миром. Битва добра со злом всегда неравноправна, так как одна из сторон действует коварством, силой безжалостного расчёта. Сторона же добра жертвенно принимает на себя её первый крошечный натиск — и мы знали об огромном количестве людских жертв в начале нашей войны, когда бомбили наши мирные спящие города и стирали с лица земли танковым валом одинокие, обречённые только на гибель пограничные заставы. Знали о переломных битвах войны — за Москву и за Сталинград, о блокаде Ленинграда и Курской дуге. Сражения же на европейских полях представлялись уже как одно освободительное победное шествие. Победа как торжество добра. Суд над злом — Нюрнбергский процесс.

Каждый советский человек, рождённый после войны, знал и понимал о ней ровно эти заповеди. О войне узнавали из фильмов и книг, память о ней увековечена была ещё в памятниках. Кто воевал, сами фронтовики, знали и понимали куда больше, но этой горькой окопной правде не было дано никаких прав, да и разве мыслимо было разочароваться в главном, в нашей Победе? Вос-

требована оказалась советским обществом не правда, а миф о войне, и даже реальную политическую историю подменила мифология решающей схватки добра со злом, сакральной по своей сути, будто это был Армагеддон. Хотя зло всё же не исчезло и демоны с их угрозой миру не перевелись, но именно после Великой Отечественной добро, то есть наша страна, наделяется уже силой и мощью, далёкими от прежнего жертвенного страдающего образа.

Та же окопная правда — хоть тень страдания — была загнана в потёмки солдатских душ. По всей стране — тысячи памятников победителям, но только Бабий Яр, могила Неизвестного солдата и Пискаревский мемориал в память о жертвах. Незахороненные останки погибших потому и оставлены тишком болотам да лесам, что источали не торжество победы, а страдания и слезы, которых чурались как напоминания о разгроме армий и огромных людских потерях.

Победа породила культ силы и бессмертного подвига. Того подвига, что не оставлял, однако, в живых и был сознательным приношением человеком своей жизни в жертву. О легендах войны надо сказать особо, ведь легендарным становился не всякий воинский подвиг и после войны воздвигались монументы не на каждой пяди Русской земли, обогрённой кровью героев. У нас легендой стали подвиги смертников. Сама человеческая жизнь на весах нашей войны ничего не стоила, а меж тем на войне человек не только нацелен на уничтожение врага, но силится выжить, остаться в живых. Одно, по сути, — кромешно и бесчело-

вечно, да ведь и временно, так как убийство себе подобных, тем более массовое уничтожение людей людьми, и может оправдать только война. Другое — человечно и полно живого содроганья, и в том нежелании умирать сквозит уже отвращение души человеческой к смертоубийству, которое никак не должно стать порядком вещей, иначе жизнь превратится в крошечный бессмысленный ад. Твардовский в своей поэме «Василий Тёркин» показал русского солдата, храбрость и героизм которого заключались в умении выжить на войне. Обнажил всю глубину его именно что доброты и человечности. Но выжившие — это и раны, и сомнения, и боль, и страх. А бессмертные — это живые пули, пославшие сами себя как свинец в ненавистную, бездушную для них цель. Сознательность смерти — вот бессмертие и подвиг. Там же, где тыщи и тыщи с проклятьями и матом цеплялись, как могли, за свои жизни и не хотели умирать, но погибали в штурмовых бросках или котлах окружений, смерть не делалась подвигом. Смертоубийство войны вытравлялось из народной памяти, так как рушило миф о схватке добра со злом. Миф этот оказался бесчеловечен. Он как молох требовал только священной жертвы и святой лжи.

Но ложь, какой бы ни была святой, слабее самой грешной правды. Она несвободна, и даже не само по себе желание знать правду, а стремление человеческое к свободе обратит её рано или поздно в прах. Правда в этом смысле разрушительна, и если очищает, то как огонь — сжигая дотла. Стремление стихийное к свободе было скоплено

десятилетиями безмолвной нашей веры в святую ложь и будто бы невероятной усталостью от двойной жизни, на какую обречён был всегда несовершенный да грешный человек в стране, воплощающей совершенное добро. Советский человек возжаждал быть грешным, чтоб самому совершать естественный выбор между добром и злом, отвечать за всё только своей совестью, быть неравным среди неравных, то есть свободным. Расплатой за утолнённую эту жажду свободы было неожиданное унижение правдой, когда великое в одночасье сделалось малым, а то и ничтожным, героическое — абсурдным, добро — злом.

Правда о тайных политических пактах, катынском расстреле, власовской армии, штрафбатах и заградотрядах разрушила образ священной войны. С тех пор мы знали и понимали о ней зеркально иное, и писались уже новые, страшные, правдивые книги о «проклятых и убитых», выходили новые покаянные фильмы о смертниках, которых гнали под пули свои же карательные войска. Разоблачённое и побеждённое зло фашизма воскресло беспощадно в образе и подобии собственных концентрационных лагерей. Тем, кому десятилетиями внушали в книгах и кинофильмах ужас Дахау и Освенцима, с их иссохшими пленницами трупов, газовыми камерами, печами крематориев, поощряя не столько сострадание, сколько ощущение непричастности к извращённому чуждому злу, надо было лицезреть такое же извращённое зло и униженно, потрясённо осознать свою к нему причастность, да и обманутость.

Великая национальная победа и величайшее национальное поражение теперь ещё долго будут неотделимы друг от друга. Но любовь к Родине и народная жертва во имя Родины всё равно остаются святыми, потому что во все времена были правдой. И война Отечественная остаётся нашей войной, хотя история её подлинная даже не уложилась в общественном сознании, а не то чтоб стала исторической памятью. Мой дед, Колодин Иван Яковлевич, участвовал в боях на Кавказе и в уничтожении на Украине бандеровских банд, что считались фашистским отребьем. Награждался боевыми орденами за мужество и отвагу. Служил. А уже ветераном был окружён уважением, как и все люди его поколения, обретшие себя на войне в служении Родине. Похоронен в Киеве на военном кладбище Лукьяновском со всеми почестями, но и не дожил до того времени, когда Семён Бандера стал на Украине национальным героем, а флаг с трезубцем — национальным флагом этой страны. Два года назад в квартиру в Киеве, где одна живёт теперь бабушка, пришли якобы музейные работники и попросили его награды для музея. Так как о деде давно никто не вспоминал, то она растрогалась, поверила — и отдала весь его генеральский иконостас. После засомневалась, что ордена взяли, а орденские книжки даже не спросили. Вот так был обворован мой дед уже после смерти, как и многие другие, чьи награды вдруг сделались таким прибыльным товаром, что рискуют идти даже на воровство. Но это моральное опустошение так повысило в цене награды за честное служение своему отечеству. Когда были

в людях честность и уважение к подвигу, то награды только того и стоили — человеческого уважения.

Когда вернётся утраченное нами то общественное состояние, когда люди были естественно честны, а зло подобное было невозможно? Когда станет снова ясным, где слава, а где позор? Когда русский солдат осознает в себе снова такую же праведность, какую без сомнения осознавали в себе те, кто воевали и гибли на Великой Отечественной войне? Эти вопросы оставлены как раны ею самой, нашей священной войной со злом, сброшенной в конце века со многих пьедесталов и обкраденной мародёрами, но и породившей-то зло: ненависть в освобождённых от фашизма народах, мертвящее безразличие тысяч и тысяч собственных нравственных уродов.

И все войны наши этого века — Первая мировая, Гражданская, финская, Вторая мировая, афганская, чеченская, — понимаемые всякий раз как священные, то есть как войны с неким воплощённым злом, мучительны именно этими вопросами, и о них в нашей исторической памяти оставлены порой самые мутные следы, а о каких-то уже и вовсе забыто. Ради чего всё это с нами было? Что было достигнуто этой чередой войн?

Все исторические достижения этих войн отменяла сама история, повернувши ход свершённых событий вспять — и это, наверное, правда. Однако история не отменяет подвига, и судьба России — остаётся только её судьбой.

Наша война — это наша судьба. Мы не просто люди — мы народ. Наша война всегда есть и будет

нашей войной, и воевать мы будем в исполнение своей судьбы, в силу причин вневременных и неизбежных, скрытых в нас пружиной. Наша многовековая затяжная война за собственную свободу, когда остановлены были нашествие за нашествием, породила всякий раз череду мелких, порой самых бессмысленных войн уже за чужое национальное достоинство и свободу. Вал нашей священной освободительной войны заряжен такой силой, что спустя годы и годы она ещё бродит и в крови, и в памяти народа, мобилизованного духовно и физически войной, как и жадой справедливости, верой в свою правоту.

Наша война к тому же оказывается невероятной долготы жизнью, потому что длится по много лет, ведь пространства наши известны, а в пересчёте на боевые действия — это долгое-долгое время, когда фронты безбрежны, а отступать по России можно не год и не два. Война на Русской земле вязнет как в болоте, но вязнет в ней душой и человек. По той же причине, что Россия — страна огромных пространств, для защиты которых не было никогда средств содержать ещё и наёмную армию, — под ружьё шёл и идёт чуть не каждый. А было даже целое сословие, что жило войной, — казаки. И кто выбрал себе по доброй воле судьбу военного и кто не выбирал такой судьбы — всё равно поколение за поколением идут на службу и вбухиваются жизнями в нашу нескончаемую войну.

Наша война похожа на круговую оборону. Но мы и ходим по ней как по кругу. Ходим по войне как по замкнутому кругу — а ищем мира, так что

в советскую эпоху она, война, уже стала чуть не осознанной разновидностью борьбы за мир. Где хотели мира — там воевали... У войны есть причины и ход событий, но каждая война учила людей только убивать.

Ч Ё Р Н Ы Й П Е Р Е Д Е Л

Дневник Михаила Пришвина — это произведение мало с чем сравнимое, вобравшее в себя воздух русской жизни и, одновременно, её трагическую сложность. Есть в нём что-то от монашеского послушания, есть молитвенность. Россия как личность, природа как личность, художник как личность — вот три основы этого метафизического, но и жизненного повествования. Распад мира внешнего, прошедший будто бы и через душу писателя, породил этот порыв к обретению целостного мира внутреннего — своей личности, себя в Природе и себя в Боге.

Обращаясь к пришвинской философии и его теме «сам-человека», можно блуждать в кольцах дневника и не находить выхода, потому что попадаешь в целый космос. Но дневник повествует и об исторических событиях, нам давно извест-

ных, однако при прочтении испытываешь такое чувство, как будто ничего ещё не знал: живой свидетель этих событий, Пришвин видел и описывал то, о чём молчала и молчит история.

Есть миф о революции — Россия погибла от рук большевиков, — причисляющий к лику святых уничтоженное на корню крестьянство, плоть русского народа. Но вот дневник Пришвина 1917 года — это свидетельство о том, как погибла Россия в одночасье... от мужиков, от своей-то этой крестьянской плоти.

Революция, похожая на новогодний праздник — с теми же чувствами; тут и проводы, освобождающие от прошлого, и радостное ожидание нового и подарков от будущего; как в каждой семье на Новый год — загадыванье желаний, натурально вот так — кто чего желает получить, каких плодов, от революции. Но Пришвин оказывается в деревне, собственно — в России, и обнаруживает, что семена этой революции уже взошли и что посеяно-то в народе было не благое с разумным, а драконьи зубы зависти да невежества. Наблюдая за тем, что вокруг — а вокруг всего две деревеньки, Кибаи да Шибаи, — начинает совершать открытие за открытием и всё ясней понимает, какая беда пришла с революцией в Россию. Наблюдает, как на одном отдельно взятом клочке уничтожается Россия, то есть дух жизни русской, давая этому для себя определение — «чёрный передел».

Пришвин воодушевился идеей поехать делегатом Временного комитета Государственной думы в свою Орловскую губернию, где надеялся, как это записано в дневнике, «найти себе теперь до-

рогое моё призвание»; и где находилась вся его «маленькая собственность», часть родового имения, хутор, доставшийся ему в наследство по воле матушки — дом, сад и тридцать две десятины земли. Он решает посвятить себя земле и творчеству, вдохновлённому трудами земными, — свободно, новому. Однако по прошествии нескольких месяцев Пришвин отправляет сообщение за сообщением в Петербург. Сообщения эти становятся на многие месяцы содержанием дневника — они очень схожи с теми записями, что делал он как репортёр на передовой германского фронта. Снова это беспристрастный отчёт об увиденном, узнанном, пережитом, как и тогда — проникнутый гражданской верой, что там, где есть власть, ещё могут изменить ход событий; а главный призыв — остановить стихийный захват и раздел земли.

Но скоро он понимает, что происходящее — необратимо. Революцию пожрала анархия — и скрытая в мужиках страсть к насилию, к бунту. Революция, то есть энергия единения народных масс, не находит себе ни применения, ни воплощения, ни формы другой, кроме карательной: «То, что называется теперь анархией, по-видимому, совершенно противоположно истинному значению этого слова: анархист ненавидит не только внешнюю власть, городского, но и самый источник её, право распоряжаться личностью другого, насилие. Между тем в этой анархии, которая теперь у нас водворилась, характерна претензия каждого на роль городского. Их речь, эти иностранные слова, которые они повторяют, как попугаи, их костюмы, их призыв к захвату —

всё это выражает отказ от своей личности и призыв к насилию».

«По ту сторону черты моих человеческих наблюдений...» — в дневнике 1917 года рождается этот экзистенциальный оборотный взгляд на действительность, что усиливает в картинах чувство абсурдности происходящего. Наблюдает, как мужики выбирают в сельские комитеты и советы крестьянских депутатов... уголовных: «...кому уголовные, а нам хороши». Следом пишет: «Потом из расспросов я убедился, что явление это в нашем краю всеобщее.

Городские юристы мне объяснили, что это даже законное явление в революцию и что так было и во Франции: вор всегда интеллектуально выше рядового крестьянина», — и это его наблюдение для нас дышит уже современностью. Дальше поневоле читаешь как про свою современность, и чувство абсурдности происходящего оказывается не чем иным, как некой сверхъестественной всеисторической Реальностью.

Тогда, в 1917-м году, в дневнике Пришвина вдруг возникает понятие «враг народа» или, как он пишет, — «внутренний немец». Это понятие объясняет ему существо происходящего великого передела: «По городам и сёлам успех имеет только проповедь захвата внутри страны и вместе с тем отказ от захвата чужих земель. Первое даёт народу землю, второе даёт мир и возвращение работников. Всё это очень понятно: в начале войны народ представлял себе врага-немца вне государства. После ряда поражений он почувствовал, что враг народа — внутренний немец. И первый из

них, царь, был свергнут. За царём свергли старых правителей, а теперь свергают всех собственников земли». Он сам попадает со своим хуторком в этот молох — «Сон о хуторе на колёсах: уехал бы с деревьями, рощей и травами, где нет мужиков».

Захват и раздел помещичьих земель по всей России грозил бедой, которую мало кто осознавал, рассматривая вопрос о земле только как политический. «Главное, я глубоко убеждён, что все эти земледельцы наши, пашущие в год по десятине земли, понятия не имеют о настоящем земледельческом труде. И жажда их земли есть жажда воли и выхода из тараканьего положения. Наши красные министры понятия не имеют, как мало пахнет тут социализмом...» Революция там, в деревнях — это стихийный раздел бывшей помещичьей земли между крестьянами. Но если начнётся новый передел земли — осознаёт Пришвин, — деревня пойдёт войной на деревню, потому что нет меж ними осознанных границ. Испокон веков — вспомнить тяжбу Троекурова с Дубровским — была сильна вражда за спорные пограничные луга, рощи. Границы же земельных наделов, то есть границы помещичьих владений, рухнули, и уже воспринимая помещичьи земли как общие, «общественные», мужики вот-вот готовы встать на ножи. Но расколота в глуби и сама ошестиненная в круговой обороне крестьянская община: нужда в земле сильна в ней у крестьян «однолошадных», кому есть чем пахать, а «безлошадные» должны поневоле сдавать в аренду или продавать свои только обретенные наделы, снова оказываясь без земли, оказываясь в том же беспросветном «тара-

каньем положении». Отношение ещё более враждебное и завистливое к городам, «под которыми земли много». Землю делят — происходит как бы тектонический разлом России. По трещинам этого разлома уже ясны очертания неминуемые гражданской войны. В конце концов драться за землю будут Россия крестьянская и Россия рабочая. Захват же и передел земли, уже произошедший, узаконивают своим первым же декретом большевики, получая за это не иначе как от России крестьянской мандат на власть — потому к Ленину, признавая большевиков тогда уж властью, и отправляются ходоки.

И вот одному наглецу-матросику уже по силам гаркнуть да разогнать Учредительное собрание; а одним выстрелом «Авроры» по силам свергать правительство, устанавливая диктатуру — карающую диктатуру простого народа, несущую только разрушение, анархию народных масс. Это крестьянство было той молчаливой гигантской силой, волю которой почувяли да исполнили по-смердяковски большевики, чей декрет о «мире и земле» был хладнокровным убийством России, пулей, пущенной ей даже не в лоб, а в затылок, — Брестский мир. Сделать этого не смела ни одна другая партия, то есть политических исполнителей, готовых пойти на это убийство, кроме них не нашлось. Знаменитый выкрик Ленина — «Есть такая партия!» — был выкриком, что есть партия, готовая к «захвату внутри страны» и к отказу от «захвата чужих земель», то есть к отказу от её обороны.

Пришвин замечает в дневнике: «Когда помещик во время ли сенокоса или уборки хлеба свои-

ми рабочими не справится и нужно поклониться мужикам, и они на короткое время становятся господами, а помещик как бы теряет власть свою, то вот как ведёт себя мужик, похоже теперешнее положение правительства во власти разных советов рабочих, солдатских, батрацких: уж они-то ломаются, вот уж они-то измываются: доверяем постольку, поскольку и прочее».

Так вот, мужики, что стали на короткое время диктатуры господами, — решает Пришвин ещё в 1917-м — когда разрушат старое государство и накажут старых господ, неминуемо будут уничтожены сами: большевики лишат Россию закона и власти, чтобы после того, как страна разломится на миллионы осколков-островков, пойти на эти земли войной, захватывая область за областью руками обречённых только на голодную смерть рабочих, солдатских деморализованных масс, городских полуинтеллигентов, инородцев, что станут носителями идеи нового Порядка, Закона, Государства — новой Советской России. Чтобы взнудать мужика, надо лишить его захваченной земли, то есть возвратит землю в оборот действительно общественный, соединяя безжалостно и удельные островки, мужицкие эти «новгородские» республики в государство... Всё это потом и произошло — создание коллективных крестьянских хозяйств под железной пятой советского государства. Но трагедия коллективизации, которую предвидел Пришвин ещё в 1917 году, была, по сути, расплатой: русское крестьянство погибло потому, что разрушило Россию.

ПОСЛЕ ПЛАТОНОВА

Я убеждён, что Платонову было страшно жить, но не из-за обстоятельств собственной судьбы — создатель «Чевенгура» мог понимать своё существование в этих обстоятельствах только как временное, отсюда и усталость в каждом платоновском взгляде, дошедшем до нас. Никакой более страшной картины невозможно представить человеку, чем картина убийства, воспаляющая ответной судорогой выживания каждый нерв и как будто на живой же плоти выжигающая свою реальность. Платонов видел смерть, которую сеяла революция в воронежских степях. Но что пробудила в нём первая увиденная картина смерти? То, что после никогда он не мог забыть — и настойчиво выписывал эту одну и ту же картину смерти: прекращение, убывание, исчезновение, отнятие жизни.

Главным событием той исторической эпохи было убийство Бога: не сына Божьего, но помазанника Божьего — не от неверия посланному Богом, а от неверия в самого Бога. Поэтому блекнут события самой истории и Россия скукоживается на смертном морозце до места этой казни, где каждой каплей крови и каждой человеческой слезинкой исполнялся приговор, объявленный Богу. Метафизичность этого уничтожения не делает его менее реальным, ведь производило оно действие в миллионах вовсе не условное, а осязаемое в том, как работал молох убийств, и в одержимости нового человека в борьбе с миром Божьим как с источником страданий. Физическое же убийство Бога было вложено в осязаемую и достижимую идею построения царства всеобщего равенства на земле. Венец этого царства — смерть Бога. И каждое новое убийство во имя этой идеи было даже не жертвоприношением, а ещё одним кирпичиком в её фундамент.

Ни до, ни после, но в момент духовного убийства веры в России является писатель, изъясняющийся на чуждом собственно словесности изначальном языке *метафор человеческого существования*, со знанием того, что это убийство отнюдь не метафизично. Он его свидетель. Он ученик убитой веры, её апостол. Некто Андрей, сын Платонов, родившийся в Воронеже в семье рабочего. Русский пролетарий, верующий, что освобождённое человечество, оснащённое умными одухотворёнными машинами, способно воздвигнуть рай на земле. Инженер-мелиоратор, скитавшийся по опустошённой голодной степи как строитель вселенского рая.

Но о «России, пропахшей трупами» сказано было Платоновым в «Симфонии сознания» уже не с утопическим пафосом. Россия, пропахшая трупами, — это даже не метафора. Трупы усеяли Русскую землю: она кормится смертью — и несёт смерть засухой, недородом. Природа заражена смертью, существование людей неподлинно, жертва сокрушительна...

Что Платонов, наподобие раскаявшегося грешника, разглядел в коммунистической утопии «Россию, пропахшую трупами» — этого не могло быть. Он не раскаивается в своей любви к трудовому русскому народу и в своей вере, рождённой ещё в молодом одержимом человеке идеей вселенского беззаветного строительства: но вот самого этого человека встреча с чем-то будто бы подменила. Суть платоновского писательства и дара, открывшегося в нём — в таинстве превращения, но не в убогом социальном покаянии или осознании собственных жизненных ошибок. И могло это быть встречей только с чем-то сверхъестественным, что заставило его испытать нечто более сильное и глубокое, чем даже одержимое упоение революционной мечтой, и повлекло апостольским путём в обезбоженный *прекрасный и яростный* мир.

Что было явлено простому смертному Андрею, казалось, только одному из ведомых, в безбожных воронежских степях? Ответ на это в таинстве последующего превращения, когда мы видим Платонова, писателя страха перед концом даже шумной и яростной коммунистической стройки, в котлован которой фундаментом кладут трупы

становящихся мучениками — и жертв, и строителей; когда в картине каждого его повествования возникает смерть, и чем сокровенней Платонов вглядывается в лики смерти, страдальческие и страшные, тем явственней на их поверхности проступает... образ ребёнка.

Убийство ребёнка, смерть ребёнка или человек-ребёнок, намеченный смертью как самая лёгкая добыча, или же блуждающий, сам того не ведая, в её сумеречных пустынных пределах — это постоянное исповедание Платоновым какого-то ошутимо *страшного таинства*, в котором произошло однажды его превращение души. Как это было в действительности — опять же возможно только ощутить. Всё написанное Платоновым внушает ощущение, что он свидетельствовал в каждом из разноликих своих детских образов о смерти одного-единственного ребёнка, потрясшей его ещё в молодости, когда сам он не был отцом, но воспринял умершее живое существо как Отец. Образ ребёнка в его прозе во все времена пронизывало отцовское сострадание, то есть душевное свидетельство присутствия *любящего человека*. Но взгляд Платонова — посторонний, если и не потусторонний, писатель в состоянии остановить происходящее, изменить причинность событий в том, что пишет. Но и это бездействие — не замысел, не волевое творческое решение: Платонову будто бы дано знание, что отсроченное или отмененное его волей и в его замысле уже ничего не изменит ни в его судьбе, ни в судьбе всего племени людей.

После превращения, произошедшего с Платоновым, проигрывание вариантов жизни утрати-

ло для него как для художника смысл, и в этом платоновском *глубинном реализме* заключалось нечто более значимое: он осознал себя не просто посвящённым в какое-то страшное таинство, но и смирился с присутствием уже в своей жизни Судного дня. На его столе письменном почему-то присутствовала бронзовая статуэтка приплясывающего и дразнящегося беса... Ему было видение, о чём написал однажды в письме к жене: явилась тёмная странная фигура, в которой узнал самого себя... Вещь на письменном столе или появление потустороннего двойника — это знаки того, что в жизни человека присутствовала и вынуждала себя осознать высшая гнетущая сила.

Видения платоновской прозы связаны сверхъестественно во времени с тем событием, которое в России произошло под покровом непроглядной тайны: казнь царской семьи, убийство детей — дочерей и малолетнего сына Николая II. Неотступно изображая страшное таинство детской смерти, Платонов воссоздавал действительность казни царственного ребёнка. Его собственное неотступное видение умирающего ребёнка будто бы открыло в нём дар ясновидящего и ввело всем существом в круг тех сил и превращений, где он ощущал себя гнетуще и страшно тенью самого себя. Так ощущает себя Свидетель. Но и казнь, произошедшая в Екатеринбурге, была *тенью свершившегося события*. Это детоубийство свидетельствовало о казни Сына Божьего с той новой силой и смыслом, как если бы прошлое, произошедшее на Голгофе, не было исполнением пророчества, а само пророчествовало о будущем новом убийст-

ве. В этот замкнувшийся круг бытия, в мир этой вечности, сотворённой на крови Агнца, и вошёл свидетелем некто Андрей, сын Платонов. Само его отношение к понятию «революция» с этого момента утрачивает всякий смысл. Фразы «Платонов принял революцию» или «Платонов предал революцию», писавшиеся в биографических сведениях новейшего времени или в личном деле писателя рукой соглядатаев-партийцев, охотились лишь за тенью. Платонов, свидетельствуя и обретая себя подлинного, становился тенью по обе стороны своей подлинности: вот он в ночном мороке видит двойника — ожившую свою тень — в том мире, который ощущает куда более реальным, чем «революцию», и куда ложится от него такая же по сути тень, только блуждающая с портфелем совслужащего и присутствующая не на тайной вечере, а на литературных проработках да собраниях советских писателей. Одна тень — как воплощение действительности апокалипсиса, и она сильнее, чернее, явственней. Другая — след его то ли присутствия, то ли отсутствия в «советской действительности», неприметная и неприветливая для чужих, как замаскированный вход в настоящий сокровенный мир. В этом мире Платонова — только творчество и семья. Это было его подлинным. Но в ряду сверхъестественных совпадений самое гнетущее — история смерти Платонова. У него — у отца — был отнят в лагеря ребенок, сын, Платон Платонов. Известно, что Шолохов помог Платонову вызволить сына из заключения, уже смертельно больного туберкулезом. Платон умер, но отец перенял от сына тубер-

кулёз: болел, как и он, и умер так же, как и его ребёнок.

Творчество — великая благодать. Но сам Творец, наделяя художников способностью преображать действительность, жестоко защищает от человека цельность и смысл мира как своего творения необратимостью расплаты.

Есть сила гения, пробивающая запретное, недоступное людям — и этот гений, этот Проводник или Поводырь людской в зону роковых превращений будет за своё знание о ней назначен к точно такой же по своему смыслу расплате: его знание, будто недоимка, станет его же роком — долгом, что взыскан будет отнятой волей к жизни. Платонов воссоздавал действительность новозаветного детоубийства, но свидетелем русской истории как пути на Голгофу с закланием Агнца на её вершине стал человек не близкий к Богу, а тот неотвратимо далёкий от Него, кто в своём воображении или сознании связал в одно космическое событие физическую смерть Агнца — и духовную Бога. Своими муками на кресте Сын Божий искупает первородный грех и после, с Его воскрешением из мёртвых, людям открывается путь в бессмертную жизнь, в Царствие Небесное. Платонов без всяких сомнений понимал эту библейскую причинность — но всю силу своей духовной веры обратил в отрицание всеискупляющей жертвы, видя в смерти Агнца и смерть Бога, понимая строительство мира на жертвенной крови как апокалиптическое его крушение... Платонов не поверил в воскрешение через смерть. Платонов, осознавая мир как творение

и присутствие в нём высших сил, не поверил в отцовство Бога.

Природа, космос, ребёнок — священный круг платоновской прозы. Но в этом круге мироздания пусто место Бога. Идея воскрешения погибших, восстания человека из царства мёртвых внушена Платону не верой в Бога, а неверием в его отцовство над природой и людьми. Воскрешающая сила по Платону — любовь, но опять же не к Богу. Это любовь, исступлённо не признающая смерти, то есть природное вживание в сотворённое твоей же любовью существо. Платонов говорит, что вечна любовь матери к своему ребёнку и неистребима никакой силой. Также понимает он любовь, как вживание души Отца в душу Сына. Рушит эту вечность любви не смерть, как таковая, а посыл волевой к смерти. Отец не может послать на смерть, если любит своего Сына, воскрешение же из мёртвых невозможно без любви. Платонов вдохновляется самой идеей воскрешения, отцовской по своей сути, и верит в её действительность, в дарованную после смерти вечную жизнь, как в посыл любви. Ему было страшно, что перерождаются природа и человек, исчезая как источники любви. И всё уже творчество Платонова — есть преодоление этого страха, по сути — страха смерти.

Платонов писал о смерти. Так как смерть не может быть безлична, то писал о смерти человека, коровы, растения — живого существа: что было смертно, то было для него, парадоксально, и живое — одушевлённое отцовской любовью или детской слабостью страдания. Платонов заворожён

не самой гнетущей картиной умирания, а смертью как трагическим преображением *вещества существования*, то есть живого, и все его герои также находятся в этих странных — замороженных, медленных отношениях со смертью. Духовно он следует этапами смерти, одолевая главные её состояния для человека: свидетеля чужой смерти; утрачивающего любящего или любимого; расстающегося с родным существом; умирающего в силу естественного прекращения сил или совершающего самоубийство; идущего на смерть как на воинский подвиг; приговорённого к смерти и ждущего казни; новорождённого на свет в природной мене со смертью... Последнее стало фабулой «Счастливой Москвы» — эпилогом к великой личной теме.

Толстой и Достоевский таили в себе страх как сомнение, только давая понять, что место любви к Богу в человеческих сердцах опустело и душа без любви влечётся к преступлению, но любовь убита в человеке не чем иным, как испытанием справедливости мира Божьего, по сути — испытанием веры. Эта недосказанность предвосхищала неизбежное появление в России того, кто должен был всё досказать. Наступивший век давал своей стихией невиданную свободу новому гению и готов был к откровению о начале апокалипсиса. Из отмеченных избранничеством Платонов выдержал все простые, но и неимоверно тяжкие испытания: он не предал самого себя и не зарыл в землю написанного — тот, кому дано было ощущать всю меру страха, оказался не сломлен и не разрушен страхом. Гений же апокалипсиса и должен был — преодолеть Страх.

Читая, мы изучаем книги, только если в них заложено некое задание. Каждая книга содержит какое-то знание о жизни, но не каждая содержит в себе задание. Проза Платонова есть главный рассказ о бытии человеческом, но в ней нет самого библейского задания, так как это рассказ о жизни человеческой без Бога. Это откровение — но весть не о будущем, а об уже начавшемся: о вступлении в действие тех сил, которые обрекают человечество на умирание.

Сегодня, однако, внушается, что проза Платонова — это изысканное языковое яство, и только. Блюдо для гурманов. И так совершается обман или подлог, потому что Платонов никогда не писал для эстетов. Его творчество было обращено прежде всего к простым людям, а слова и мысли также ясны и просты. Он не создал духовного учения, но взгляд его на человека и на мир, как цельность, содержит в себе ценнейший нравственный и духовный опыт — *философию существования*. Творчество Платонова — это не только мир его прозы, но весь путь от книги стихов «Голубая глубина» до недописанной драмы «Ноев ковчег». Оно движется духовными этапами и свободно по форме. Он драматург и сценарист, сказочник и очеркист, прозаик и поэт, читатель и критик, научный изобретатель и философ. Но во всех своих творческих ипостасях Платонов един, потому как всё соединяет и объёмлет в себе гений — такая сверхъестественная цельность воли и природного дарования в человеке, что уже не требует творческих поисков той же самой цельности и ведёт только путём открытий. Приход к опреде-

лённой художественной форме для гения — суть внешнее. К ней ведёт его не поиск самой формы как цельности, а предчувствие открытия. Выбор между жанрами и родами искусства здесь существен только как выбор того или иного способа заявить об открытии. Великая картина платоновского творчества — это не копия с реальности тех самых лет и не сюрреалистическое преобразование реальности, а явленная действительность будущих событий. Это то, что можно назвать «фантастикой», если не верить в единство всех бывших и будущих событий. Платонов создал новый духовный простор там, где всё было без него крошечно спрессовано смертью и ощущением конца. Он исповедовал любовь, и как последнее спасение — воскрешающую любовь к мёртвым. Не к мертвецу, а к тому ребёнку, которым предстаёт перед смертью каждый человек. Преданность этой любви и этому сознанию в Платонове были таковы, что если бы Бог был смертен, именно тогда он бы ощутил Его живым — и уверовал бы в Него, и возлюбил. И это страстное подлинное отрицание Бога более всего свидетельствует о религиозности Платонова и об искреннем осознании им Бога как вечности, против которой он восставал.

КОММЕНТАРИИ К АДУ

Стены времени вовсе не призрачны — это застенки. Маленький ад на земле или его подобие, кунсткамера, беззвучная плоскость отмерших душ и жизней. Есть запись у Нагибина в «Дневнике», где это чувство, близость ада этого, так и пронзает своей тоской; Нагибин пишет об умершей бабушке — вот ушёл человек, который видел меня младенцем, всё знал обо мне и о том, что было до моего рождения, а теперь человека этого не стало, и не стало всей жизни. Остался тоскливый быт одинокого человеческого существования. Пугающая темнота прошлого, по ту сторону которого слышится только гул смерти.

Чувство действительности, а с ним и духовная подлинная свобода оказались утрачены после того, как нашу историю превратили в ад, и всякий теперь, наверно, приучился к мысли, что история

наша — это непроглядное зло. Не изуверства и не ужасы жизни, от которых вопит плоть, а бесконечное познание зла, терзающее душу и ум. По одну сторону — могильники революции, войны, лагерей, зло содеянное, а по другую — зло нераскаянное. Великая русская литература была то Орфеем, спуставшимся в ад, то поднявшимся из ада Плутоном. Но творческая воля оказалась трагически отторгнутой от воли жизненной. Андрей Платонов пишет в начале XX века — «пушкинский человек исчез». Свой страшный суд над миром вершило и вершит сотворённое из страданий исчадие «маленьких людей» — «живые трупы», «мёртвые души», «мелкие бесы». По мысли Платонова, миссия художника в этой борьбе — преодолеть неразумное в действительности и в себе, куда неразумное проникло из той же действительности. Неразумное — значит зло. И Бердяев понимал зло как «изолгание бытия», то есть как привнесение в человеческое бытие разрушительного, неразумного. Злом заражены человеческое страдание и, близкое ему, ощущение неподлинности существования человека — экзистенциальный абсурд.

Духовная неустроенность — это болезнь, исследовать которую возможно, лишь проникнув в глубину народной души. Такого масштаба национальной темой стала в русской прозе тема лагерная. Но мемориал лагерных книг, остов духовный современности, обратился в одинокие камни. Лагерная проза оказалась осмысленной в массовом потоке разоблачений и горьких правд, а могла быть раскрытой только в своей духовной сложности.

Каждая книга была неполной, в ней не хватало именно всей правды, как по Солженицыну — «не всё увидел, не всё вспомнил, не обо всём догадался», потому вглуби лагерной темы книги порой отчаянно расходились, спорили. Каждая книга, устроенная куда сложнее, чем документ или свидетельство, заключала в себе психологический тип, характер — свой атом неуничтоженного человека, и свою неповторимую культуру — из многослойности жизни. Что писала партийная интеллигентка, того не вышло бы на бумагу из души дворянки. Социальное расслоение было даже разительней на каторге, чем в советском мирке. Сам «советский человек» прозябал одиноким уродом на каторге — а первое же произведение на лагерную тему, «Один день Ивана Денисовича», было весточкой о непогибшем русском человеке. Много сказано о том, что этот тип, мужицкий, крестьянский, оказался привлекательным и даже разрешённым в советское время для художников. Но в лагерной прозе обнаружился не один русский мужик, а русский народ; всплыла на поверхность не разбитая амфорка, а вся затонувшая в революции Атлантида. Обнаруженные уже Солженицыным исторические для русского народа вопросы были яростно заглушены советской пропагандой, а сам он — выслан из страны.

Но вопросы истории и веры оказались заглушены и теперь — только что выдворенные не из страны, а из литературы, где отказано им в осмыслении, точно бы в гражданстве. Эта участь постигла почти все лагерные книги, опубликованные в новейшее время, и даже великую — книгу Ирины Го-

ловкиной (Римской-Корсаковой) «Побеждённые», эпическое повествование о трагедии русского дворянства, подобное по силе своей разве что «Тихому Дону». Головкина умерла никому не известной в 1989 году. Опубликованный через три года в «Нашем современнике» посмертно, роман её похоронило всеобщее равнодушие и молчание.

Литература светская и лагерная проза были чужды друг другу, начиная уже с «Одного дня Ивана Денисовича». И в советское время и в новейшее нет как нет у «литераторов» такой силы духа и мужества, чтобы воспринять эту правду. Тем, кому чудится, что их пугают, всякий-то раз «не страшно», а им ведь и не ведомо, чего надо бояться — так ничтожны и задрены от жизни их места и местечки. Но и художественно проза лагерная сложнее мемуарной, сложнее документа и свидетельства. Она рождалась не из воспоминания, а из страдания, тогда-то и требуя вовсе не мемуарного «преодоления неразумного в действительности и в себе». Понимая сложность «выстраданного документа» как художественную, важнейшее по этому вопросу исследование пишет Шаламов, где заявленной, по сути, оказалась вся художественная программа послеплатоновской русской прозы: «Когда меня спрашивают, что я пишу, я отвечаю: я не пишу воспоминаний. Никаких воспоминаний в “Колымских рассказах” нет. Я не пишу и рассказов — вернее, стараюсь написать не рассказ, а то, что было бы не литературой». Подлинность, «не литературность» осознаётся как проблема повествования. Из гула народной речи рождается «нецивилизованная» и антироманная

форма лирического житийного эпоса. Это «Архипелаг ГУЛаг» и «Колымские рассказы», «Погружение во тьму» и «Побеждённые».

Публикация «Повести о прожитом» В. Зубчанинова состоялась после смерти автора в журнале «Октябрь» в 1997 году. Мы уже не застали этого человека в живых — мы, его читатели. Поразился я поневоле, когда узнал, что Зубчанинов после десяти лет работы над книгой при всей её выстраданности для него оставил написанное под домашним арестом и как-то убеждённо не хотел никуда и никому навязывать. Книга обрела свою судьбу, стала как будто отдельной личностью. Виднейший учёный-экономист, профессор, двадцать лет, отнятые в лагерях, — вот такие вехи человеческой жизни, но сокрыто в ней было столько утрат, сколько даже смерть не способна отнять у человека. Но смерть ничего у него уже не отняла. Даже горе своё Зубчанинов унёс с собой, не сделал его отдельным от себя, то есть не сбросил тяжким камушком в книгу — в мир наш и души. Он хотел понять и прояснить страшную историю тех лет, ему памятную, поэтому книга его утешает и спасает своим светом разума. Это движение души — не утраститься и не утрастить — было инстинктом благородного человека, но Зубчанинов, сознательно отстранившись от уже написанного, также сознательно верил в своего читателя и считал себя ответственным перед ним, когда писал свою повесть.

«Повесть о прожитом» дополняет и продолжает лагерную тему, главное её направление — от воскрешения человека и духа человеческого к по-

ниманию судьбы народа. «Архипелаг», оказываясь эпичней, но и пространней, угнетает и леденит под своими сводами. Солженицын — судья, и как справедливо замечает в своих записках Амальрик — «он не пытается понять другую сторону, зло остаётся у него только осуждённым, а потому не преодолённым». Но, заложник фактов, их достоверности, Солженицын совершал прорыв за прорывом в житиях лагерных мучеников («Жизнь Георгия Тэнно»), в повестях о Кенгирском восстании и о расстреле в Новочеркасске, когда события только рисовались в его воображении — и здесь-то повествование становилось на глазах историей.

«Повесть о прожитом» — собрат этих эпических повестей «Архипелага». Зубчанинов пишет пережитое как увиденное. Важней ему не знать, а чувствовать — не судить, а понимать: «Я хотел стать историком. Это не значит, что меня интересовали исторические законы. Я любил историю как предмет художественного восприятия: мне хотелось чувствовать, что за люди скрывались за историческими именами, как они жили, как выглядели, как говорили; представлять себе тогдашнюю обстановку, тогдашний город, его улицы, толпу так, чтобы, закрыв глаза, увидеть всё как наяву. Для меня картины Рябушкина были историей в большей мере, чем четырёхтомный фельетон Покровского. Даже фактологические исследования, в которых расследовалась скорее достоверность фактов, нежели живописалась ушедшая действительность, казались мне более похожими на работу следователя, чем историка».

История семьи, богатой купеческой Елизарова и муромского торговца Зубчанинова, рассказанная в начале, продолжается детскими воспоминаниями о дореволюционной России. Сама революция возникает в повести неожиданно, но не страшно: «Люди выбились из обычной колеи, ходили, как подвыпившие, а всюду из балаганов кричали зазывалы, свистели детские свистелки, показывали петрушек, пахло вафлями и пряниками», «...было такое состояние, какое бывает в доме, где умер хозяин, который всем давно надоел своей затянувшейся болезнью, но всё-таки продолжал быть хозяином, а теперь все облегчённо вздохнули, сразу получили возможность, не оглядываясь, делать, что хотят, ходить, куда хотят, говорить с кем угодно и о чём угодно».

Всплывают живые картинки и лица нового времени. Поэтический вечер в Деловом клубе: «К столу подошёл Маяковский... с папиросой в зубах, в хорошем заграничном открытом френче». Московский университет — Коммунистическая аудитория, лекции Брюсова о поэзии, травля профессора Челпанова. Безработица, биржа труда. Начало службы «секретарём в правлении Владимирского хлопчатобумажного треста». «Работу я представлял себе как труд <...>. Вместо этого пришлось писать по поручениям начальника письма, готовить ему доклады...». Приходя домой, Зубчанинов целыми вечерами лежал в полном отчаянии, стыдясь кому-либо рассказать о том, чем приходится заниматься. Труд был смыслом жизни для русского человека, даже его религией, недаром памятно остались в семье слова прадеда: «На-

ши елизаровские деньги честные: тот — купца на ночлеге зарезал, другой — помещика обобрал. А мы сколько лаптей с отцом износили, чтоб копейку к копейке прикладывать».

Этот предок, Ефим Григорьевич Елизаров, был заводчиком полотняной фабрики в Вязниках. Зубчанинов описывает, как бастовали рабочие на Вязниковских фабриках... в 1928 году — и начало борьбы с народным непокорством. Эти две стихии, народная и новых хозяев жизни, отчего-то так и существуют в повести отдельно. То есть нет ощущения гибели России. Дух жизни советской — не воздух, а вонь. Масса новых хозяев, мелкая интеллигенция, мелкая буржуазия, «которая никогда ничего не имела и не умела», копошится вошью на трупе мертворождённого «советского государства». «Едва заканчивали передавать наспех нахватанные цифры, как уже звонили из другого вышестоящего учреждения. Там готовился спешный доклад в правительство и тоже нужны были разные сведения. Тут же приносили бумаги с распоряжениями начальника написать туда-то, составить справку для того-то, дать заключение по письму такого-то, и так — весь день». Россия голодает и бедствует, потому что трудоустроился в ней тот бесполезный страдающий «маленький человек». Тысячи таких сидят начальниками в учреждениях — это и есть их работа, их революция.

Замечательно наблюдение Зубчанинова о природе советского бюрократизма — бросились изводить бумагу массы полуграмотных и безграмотных, для них, как бы новообращённых в грамотность и счетоводство, сам процесс писания,

подсчётов и прочего осознавался именно как важнейшая тяжелейшая работа! «Все вопросы теперь решались одним-единственным человеком или его двумя-тремя непосредственными помощниками по его указаниям. Вопросов в стране было бесконечное множество, и для того, чтобы делать их понятными, человеку, который никогда ничего не слышал о них, приходилось всё разрабатывать в мельчайших подробностях с самого начала и до конца. Поэтому занято этим было бесчисленное количество людей...» Но мало, что надо было делать понятным рабочий вопрос для «хозяина», ведь и управлять такие «хозяева» не могли — отсюда и необходимость в госплане, пятилетках, то есть в диктатуре. «...Каганович, назначенный наркомом путей сообщения, организовал у себя в наркомате центральную диспетчерскую, чтобы из Москвы следить за движением каждого поезда».

Зубчанинов сообщает факты о забастовках текстильщиков в Шуе, в Иванове — и это факты 30-х годов! На усмирение только стихийных митингов в Иванове были отправлены войска. «Нужно было или мириться, или усиливать и усиливать полицейскую диктатуру, подкрепляемую постоянным устрашением и подавлением. История пошла по второму пути. А в связи с этим потребовался диктатор, которому необходимо было создавать непререкаемый авторитет и всеобщее преклонение».

Зубчанинов низводит миф о культуре Сталина и даже о его необычности. На месте Сталина мог быть другой — Киров, то есть не демонический диктатор подчинил себе партию и прочее, а мас-

сы советских хозяйчиков жизни жаждали диктатора и диктатуру — трупные советские вши заедали народ. На «съезде победителей» они всего-то метались между Сталиным и Кировым, требуя от руководства одного — усилить террор. Хозяйственная самостоятельность и НЭП были ликвидированы потому, что массы эти не сумели и не смогли устроиться в жизни, сделать себе капиталы — трудиться, их побеждал артельщик, заводчик, то есть в конечном счёте мужик. В другое время лагерники уверены были, что не отпустят их из лагерей защищать родину на фронт: «Ведь лягавым от войны укрыться надо. Без заключённых такую армию в тылу держать не будут!»

Зубчанинов попадает в молох репрессий, уже поглотивший его отца и брата. Начинается история лагерной Воркуты, и если за Шаламовым — навечно стоит Колыма, за Волковым — Соловки, то Воркута, донине в лагерной прозе почти не разведанная, после «Повести о прожитом» обретает тот же вечный духовный свет. В этой части написанное Зубчаниновым уже бесценно для народной памяти — воскрешаются десятки безвестных человеческих имён и подвиг многих тысяч людей, на чьих костях обустроивалась северная эта земля. Бесценна доподлинная история «кашкетинских расстрелов» и «ретюнинского восстания» на Усть-Усе. В повести возникают Нафталий Френкель и Яков Мороз, почти оставшиеся тайной лагерные генералы, хозяева ГУЛага, которых Зубчанинову довелось увидеть воочию, даже так, кромешней — стоять пред ними и ждать, но миновать участи смертельной.

Кашкетинские расстрелы на Воркуте и гагаринские на Колыме — самые зловещие и массовые случаи истребления заключённых в ГУЛаге. Правду о гагаринских расстрелах написал Шаламов. Факт массовых расстрелов на Воркуте расследовал и запечатлел в «Архипелаге» Солженицын, но написанное Зубчаниновым сообщает такие подробности, которые и многое уточняют в этих событиях, и многое меняют в их духе.

«Архипелаг» Солженицына и «Справочник по ГУЛагу» Жака Росси, самые значительные собрания лагерных материалов, утвердили в истории именно «кашкетинские» расстрелы, тогда как в повести Зубчанинова фамилия уполномоченного из Москвы, старшего лейтенанта госбезопасности оказывается **К а ш к е д и н**. Командировка Кашкедина на Воркуту в 1938 году была развязкой двухмесячной голодовки красноярских троцкистов — Кашкедину поручили их уничтожение, но сотня троцкистов пополнилась до тысячи — 58-й статьёй и «отказниками» из верующих. До сих пор известно, самый полный рассказ у Солженицына, что колонну заключённых, которых якобы для этапа собирали всю зиму на кирпичном заводе, инсценировав отправку, расстреляли из пулемётов в открытом поле. Солженицын пишет о пособничестве уголовных в этом расстреле, Зубчанинов — о том, что охрану кирпичного формировали исключительно из вольнонаёмных воровцев, «главным образом коммунистов и комсомольцев», и что добивал Кашкедин раненых в поле с солдатами, которым после выдали денежные премии и предоставили путёвки в санатории.

Это — расхождение в подробностях, а по сути — Зубчанинов описал первую неудавшуюся попытку расстрела, о которой до сих пор было неизвестно: «...Кашкедин, как все чекисты, которых мы наблюдали, организовывать ничего не умел. Сначала он придумал такой порядок уничтожения. Людям объявляют, чтобы они готовились к бане. Выводятся первые десять человек, они раздеваются в предбаннике, ничего не подозревая идут в натопленную баню, там их убивают, трупы выносят. Затем вводят второй десяток и т.д. Но когда первые, раздевшись в предбаннике, вошли в баню и увидели там вооружённых вохровцев, которые приготовились стрелять, началась свалка: кого-то успели застрелить, но кто-то схватил шайку и кинулся на вохровцев, кто-то зачерпнул кипятку и стал плескать на солдат. Всё закрылось паром, стреляли наугад, беспорядочно и долго. Эту стрельбу услышали в палатках, и началась паника. Когда бойня с первым десятком кончилась и, успокоившись, хотели выводить второй, поднялись такие крики, возбуждённый народ сгрудился такой толпой, что сделать ничего не удалось. Намеченный порядок пришлось менять».

Зубчанинов описывает, как на другой день после неудавшегося расстрела Кашкедин в сопровождении своих лейтенантов и вохровцев пошёл по палаткам и отыскивал виновников беспорядков: «Кто начал вчерашние беспорядки? — Все молчали. — Не хотите говорить?! Так я знаю — кто. Взять этого. — Он ткнул пальцем в первого попавшегося. Потом также приказал: этого, этого... Но тут к нему кто-то подскочил и закричал:

— Я начал. Я!

С нар соскакивали люди и все кричали:

— Я! Я!

Опять поднялась страшная суматоха. Толпа с криками окружила чекистов. Они были без оружия. Носить его в тюрьмах не полагалось, потому что заключённые могли отобрать и вооружиться. Пришлось бежать из палаток». И тогда-то Кашкединым было решено кончить всё сразу. Заключённые на кирпичном не умерли по доброй воле и не шли на бойню, как скот. Они хотели жить и верили до конца в своё спасенье — не сумев сломить их воли и запугать, Кашкедин придумал обман, что их отправляют на этап, но и расстрел колонны в голом заснеженном поле был таким же трусливым — был засадой. И ещё один факт сообщает Зубчанинов — что сам Кашкедин был позднее расстрелян. Таков был и конец колымского палача Гагарина. Их убрали как исполнителей и свидетелей, замечая следы, — но вот правда массовых расстрелов на Воркуте наконец открыта, а правда — это несломленный дух человеческий.

О малоизвестном «ретюнинском восстании» на командировке Ош-Курье Зубчанинов написал одни из самых сильных страниц в повести, полные одержимости, отчаяния, мужества — человеческой силой, как и «Последний бой капитана Пугачёва» у Варлама Шаламова. Солженицын в «Архипелаге» сообщает: «Ещё весной 1945 сажали по “ретюнинскому делу” совсем и непричастных». Один из этих «непричастных» — был Зубчанинов. Два года воркутинской тюрьмы. Бесконечные ночные допросы — пытка, которой в конце кон-

цов не выдержал. Второй лагерный срок — десять лет. «Ретюнское дело» было нужно, чтобы доказать антисоветский заговор. Самих восставших не осталось живых, и на Воркуте шли аресты «вдохновителей и руководителей» заговора. Но то, что пережили Зубчанинов и другие, за что их покарали, сделало ведь их не иначе как причастными. Ничтожные безголовые палачи ставили на место убитых живых, и было так, будто бы они, живые — восстали, а восставшие — не умирали.

Судьбу человека невозможно отделить от истории народа, а пережитое каждым — от исторической жертвы миллионов. Мы наследуем эту национальную трагедию, много зная покаянной безнадежной правды, но так и не обретая нравственной ясности, потому что забыта и предана безмолвию стала даже память тех, кто её, тему лагерную, открывал. Но лагерная тема закрытой или же завершённой быть не может, потому что это святой стон и голос наших мёртвых, праха земли нашей. Донести правду о пережитом, увиденном дано было немногим — выжившим, оставшимся людьми, но это сам наш народ доносит о себе правду и воскрешается из небытия, из мёртвых.

РУССКИЙ ЧЕЛОВЕК В XX ВЕКЕ

Писателя Александра Солженицына с самого момента его появления в литературе оглашали «новым Толстым» и по сей день приравнивают его к «новому Толстому» или пеняют, что не стал «новым Толстым». Но те, кто ждали этого второго пришествия — да так и не дождались, усматривая эгоизм самоназначенного мессии уже только в затворничестве Солженицына, — с самого начала видимое выдавали за невидимое. В основе своей Толстой и Солженицын как личности не имеют ничего общего, кроме заурядного совпадения человеческих черт. Будь то самоограничение или волевое осознание своих целей у Толстого и у Солженицына — это не натруженные мессианским призванием мускулы, а черты харак-

тера; человеческие черты, врождённые или воспитанные, то есть явившиеся ещё, быть может, и до того момента, как стали они собственно писателями.

Но соизмерять личности Толстого и Солженицына — это как землю мерить с воздухом или воду с огнём. Это не просто разные — это взаимоотталкивающиеся творческие стихии. Солженицын — борец. Толстой — созерцатель. Один взывал к борьбе. Другой исповедовал непротивление злу, смирение. Сердцевина личности Толстого — в мучительном отношении ко всем институтам современного ему русского общества, будь то собственность или брак, в котором он мечтал отыскать прежде всего нравственную гармонию, тогда как сердцевина личности Солженицына — изгойство. Толстой верил в мировую волю, эту веру воплотил в «Войне и мире»; Солженицын — волю мировую в «Красном колесе» разъял на осколки и судьбы, растворил в почти почасовой хронике исторических событий. Толстой полагал, что приносит своему народу какое-то страдание. Солженицын — что избавляет от страданий свой народ. Иначе сказать, один ощущал себя чужим и одиноким в своих убеждениях, тогда как другой писал от имени миллионов.

Но нет сомнений, что Толстой-художник жил в сознании Солженицына. Иван Денисович — из того же вещества, что и Платон Каратаев. В первый и единственный раз в Солженицыне отразился Толстой в том виде, в каком только и мог он отразиться — образом героя и духом повествования; а «Один день Ивана Денисовича» посчитали ду-

ховным и художественным продолжением толстовской прозы — началом «нового Толстого». Но, как это уже было в русской литературе, схватили с восторгом не того и понесли не туда. Солженицын заявил свой взгляд на этот образ: он Толстого не продолжал, а с Толстым спорил.

«Один день Ивана Денисовича» — это вещь прямого столкновения. Бывают взрывы, их называют «направленными», таким вот «направленным взрывом», в смысле выхода энергии, был этот рассказ, заряженный от русской жизни, будто от гигантской живой турбины, которую во вращение приводили и реки, и ветры, и вся людская, меряная на лошадиную, сила. Этой машиной, машиной, молохом — был уподобленный миру лагерный барак. Отечественная война или, сказать иначе, передел мира образца 1812 года давал энергию такого же свойства, на которой написал Толстой уже не рассказ, а эпопею, но важно понять, что и рассказ, и эпопея здесь были только сферой этой самой энергии — энергии распада мира.

Писатель как личность, преломляя в себе эту энергию, должен не разрушиться — должен выдержать силу её напряжения в себе. Распад мира — это ещё не распад человека, человеческой личности, но если мир распадается, то распадается он на атомы, и эти атомы — люди. Или эти атомы всё разрушают, жизнь лишается смысла — и «всё завалилось в кучу бессмысленного сора», когда «будто вдруг выдернута была та пружина, на которой всё держалось и представлялось живым» (Толстой, «Война и мир»); или же всё-таки что-то даёт жиз-

ни смысл, ту самую пружину. Писатель как проводник, воплощается в одном из атомов человеческого вещества — в том, где он чувствует, что энергия распада претворяется этим атомом, этой человеческой личностью в энергию жизни. Потому для русской литературы есть неизбежный герой.

Этот герой был неизбежным для Толстого и для Солженицына в том смысле, как неизбежно русский писатель становится проводником национальной метафизической энергии катастрофы, распада, сопротивляясь которой духовно он добудет неизбежно этот атом восстановления мира. Солженицын так же неизбежно написал Ивана Денисовича, как и Толстой своего неизбежного героя. Иначе сказать, он мог ничего не знать про Платона Каратаева, но Иван Денисович Шухов явился бы ко времени, хоть и был бы не таков. Таков же он вышел потому, что был направлен не иначе, как от зеркала каратаевщины; но направлен — не значит что «отражен». Он вышел прямо из этого зеркала, шагнул из него, как из другой реальности, вылупляясь на свет из зазеркалья каратаевщины, будто птенец из скорлупы.

Платон Каратаев, «каратаевщина» — это гигантский фантом, который породил Толстой, желая отыскать в русском мужике основу всего мироздания. Взрыв произошёл, но это был тот взрыв, с таким направлением, который спрессовал из почти космических песчинок и пыли вселенную человека и народа, что родились не из жизни, а из вакуума, из толстовской «энергии заблуждения». Этот новорождённый из хаоса человек, Толстого, са-

мого своего творца, вовсе не умилял: Толстой изобразил его в том духе, в каком и подал его животную тень — длинную, на коротких ножках, «лиловую собачонку». Подобно тому как собачонка эта «очень скоро и очень ловко бежала на трёх лапах», так и Платоша — весело и ловко бежит, только «о двух» лапах, меж абсурда кровавого войны и лубочно-солнечных миражей мира. В описании собачонки дан Толстым уже иронический взгляд на олицетворение «всего русского, доброго и круглого», вырастающий, впрочем, под конец и до трагического: воя собачонки над местом, где французский конвой пристрелил доходягу-солдата, откуда отшатнуло Пьера Безухова дальше по дороге, будто от царства мёртвых. Платошу своего Толстой оставил в том царстве мёртвых, а вот лиловая собачка — она на другой день конвой догоняет, объявляется живой.

Но Толстой глядел на Каратаева и вполне серьёзно. Мгновениями ясно чувствуешь этот его серьёзный, страждущий взгляд, который он только прячет в иронической усмешке. Говорить аристократу о любви к мужику в середине XIX века надо осторожно, с усмешкой — Пьер различает Каратаева в полутьме барака по запаху, и так вот, по запаху, и различали тогда мужицкую Россию: Толстой как будто над ней усмехается, делая тенью Каратаева «лиловую собачонку», а сам до неприличия любит этим русским мужиком — язычеством его, как молится Фролу и Лавру на «лошадиный праздник»; мудрёными его словесами; безвинными его страданиями... Он любит праведником, какие есть в народе и на которых, должно быть, стоит

Россия, но нет их в его дворянском непростодушном сословии.

Все сословия в России кормятся от плоти этого праведника: эту пасху мужичью и празднуем мы с Толстым. На жертвенной крови русского мужика — и покоится основание нашего мироздания. Волей-неволей, но Толстой возводит в Каратаеве этот храм — храм мужика-на-крови, в котором скоро не усмотрит он места и для Бога. А по Евангелию от Толстого — верует русская интеллигенция. Верует то особенное сословие людей, которое взяло на себя добровольно миссию служения общему, то есть в конечном счёте самому безлично-общему, что только есть в России, — не принадлежащему самому себе народу.

Многое в «Одном дне Ивана Денисовича» совпадает деталями, обрисовкой, обстоятельствами с толстовской легендой о Платоне Каратаеве, так что порой кажется, что совпадения направлены, сознательны. Однако здесь и важно отделить сознательные совпадения в образах Шухова и Каратаева от бессознательных — того, что есть в таком герое уже даже не типического, а архетипического (ведь это, повторимся, атом человека, то есть не тип, из жизни взятый, в жизни подсмотренный да обобщённый — это архетип, обобщённое природой, историей).

Архетипическое, бессознательное совпадение — в обстоятельствах. Это главное обстоятельство — барак. И с Иваном Денисовичем Шуховым, и с Платоном Каратаевым знакомимся мы в бараке. Этот человек, на которого каждый из

своего века глядели Толстой и Солженицын, — был не подневольный, не просто угнетённый, а заключённый, лишённый свободы даже в передвижении. Заключение, барак, такая вот несвобода, превращающая людей в одну сплошную безликую массу сдавленных друг с другом тел — это среда, где и высекается из массы атом человека, который, по Толстому, не мыслит себя отдельно, а имеет смысл только как частица целого, так что «каждое слово его и каждое действие было проявлением неизвестной ему деятельности, которая была его жизнью»; а по Солженицыну — не верит ни в рай, ни в ад, считая их обманом и, не желая жизни вечной, бессмертия души, не понимает своего интереса в жизни, кроме исполнения самых простых нужд, так что «он не знал, хотел он воли или нет». Этот человек в заточении обретал самого себя и неожиданно раскрывался в природных своих чертах — в сырости барачных прорастало семя, что должно было прорасти, будь ему земная-то жизнь волей. Этот человек абсурдным образом омужичивается именно в бараке, в неволе. А прорастало в нём семя христианское-крестьянское, но по-рабски уродливое. Рабство дало ему лживую свободу, безысходную свободу, свободу тайного действия. У Достоевского в «Записках из Мёртвого дома», где в подземелье каторги обнаруживает он галерею лиц и душ из народа, встречается тоже точно такой вот атом — Чекунов; человек с такой душой и лицом, даже повадками, как у Шухова и Каратаева. Это тот добровольный раб, который старался прислуживать герою «Записок...» в остроге — как бы душевный

раб, потому что услужить старался именно по доброй воле. Образы душевных рабов потом дwoятся и трoятся у Достоевского — это и Акульский муж, и Смердяков, и мужик Марей... Но, повторюсь, этот атом человека не подглядывали и не писали его как с натуры; именно он, уже как не тип, а как архетип русского человека рождал сложное и чем-то кровно тяжеловатое, тягостное к себе отношение — тот самый с е р ь ё з н ы й взгляд. Серьезность отношения порождала в свой черёд тот эффект, как если бы кусочек глины лип к рукам и уже из этого кусочка начинали лепить, ваять на свой взгляд фигурку — эффект переноса на фигурку собственного скрытого внутреннего смысла, так что фигурка стала магической, мистической, имела уже особый сокровенный смысл. Такой сокровенный смысл стала иметь в русской литературе фигурка *душевного раба*; в общеупотребительном стыдливом понимании — фигурка *маленького человека*.

Метафорическое «маленький человек» сначала для обозначения только фигурки Каратаева употребляет настойчиво и Толстой, зная, что каратаевы в России — это вовсе не люди в правах своих, а крепостные рабы. Также бессознательно направлен был Солженицын отыскать в лагерном бараке, уподобленном миру, магическую фигурку маленького человека, тоже, однако, зная, что шуховы в России советской — рабы; но именно человеческое, а не рабское желает видеть и Солженицын в судорогах выживания да повадках уже советского лагерного раба.

Сознательные совпадения Шухова с Каратаевым даются в деталях. Именно детали возможно без труда изменить, подменить на другие, но Солженицын деталями будто бы сознательно и сталкивает Шухова с Каратаевым, а уже только своей обрисовкой продолжает он линии скрытые или недописанные Толстым, давая свою дальнейшую версию каратаевщины, но вольно или невольно уже только разоблачая, что было скрыто за фантомом, за недосказанностью.

Уже начало «Одного дня Ивана Денисовича» — это раскрытие всех деталей, зароненных Толстым в полуслове. Сказано у него, что Каратаев ходил за чужими посылками, без разъяснения, отчего это было нужно ему, а Шухов, как нарочно, с этой мысли начинает день, и с первой страницы нам Солженицын разъясняет: за посылкой мужичок этот сбегает, чтобы услужить, это одна из «лагерных подработок», но вот только подработать может лишь тот, «кто знает лагерную жизнь». Подработать: «...шить кому-нибудь из старой подкладки чехол на рукавички; богатому бригаднику подать сухие валенки прямо на койку, чтоб ему босиком не топтаться вокруг кучи, не выбирать; или пробежать по каптёркам, где кому надо услужить, подмести или поднести что-нибудь; или идти в столовую собирать миски со столов и сносить их горками в посудомойку — тоже накормят...» Ремеслом этим владеет Каратаев — из деталей этого ремесла выживания, что даны Толстым, разворачивает уже картину жизни лагерной, самого выживания Солженицын.

Не скоро, но совпадает ещё одна важная деталь: мы узнаём, что Шухов не какой-нибудь заключённый, а солдат и что его барак теперь — это, по сути, продолжение плена. Так и Каратаев — солдат; и он в балаган засажен как пленный, а это состояние и подразумевает — безвинный. Не за грехи, а по велению рока засажены в барак два русских солдата — осколки двух величайших для своих веков войн. Этот рок войны лишил личной судьбы, и солдат весь во власти его. Судьбы нет. Жизнь, где корни были этой судьбы, прекращена — вот то, что и сделало этот атом человека поневоле-то «частью целого». Ещё деталь, в обрисовке — Шухов и Каратаев женоподобны, слащаво мягонько говорят; «с нежно-певучей лаской, с которой говорят старые русские бабы». Если мужчине не служит женщина, жена, а по солдатской службе забыли они своих жён, то женское является в его характере. Все служки так или иначе женоподобны, зато их избалованные холёные господа напиваются неожиданно мужественной грубой силой. Барство внешне воинственно, по-мужски крепко, потому ему прислуживают. А у Солженицына читается и другая неожиданная мысль: его Иван Денисович никогда не мог быть хозяином, не мог быть господином в своей семье, потому что столько денег, чтоб её содержать, никак нельзя было ему честно заработать. И снова, если не хозяин, не господин, хоть уже и в семье, то мужская сила убывает. Мягкость, кротость в Иване Денисовиче и Каратаеве является будто бы не от душевной силы, а от слабости душевной. «Младшего нарядчего разве Шухов боится»; а вот

пугается в балагане по-бабьи Каратаев, когда Пьер громко возмущается о расстрелянных: «— Тц, тц... — сказал маленький человек. — Греха-то, греха-то, — быстро прибавил он...» Какого греха-то? Кого он боится? Кругом ведь свои, да и то храпят вповалку, а французы из конвоя русской речи-то не поймут. Значит, боится сам себя; страхом уже бессознательным, страхом слабости своей, добровольно себя страхом угнетая, когда даже нет для него причины.

Жизнью барачной, рабской в России разрушено прежде всего мироздание семьи. Бабы стали за мужиков — там, в них, есть та сила, что убyla порабски в их мужьях; что это за сила — расследовать будет Солженицын в «Матрёнинном дворе», а Толстой — во всех своих женских образах, которые тем его и притягивали, что в русской женщине чувствовал он неосознанно сокрытую другую волю к жизни, сохранившийся заповедник души, где всё ещё можно было спастись от затхлости балагана, барака.

Внутри повествования как у Толстого, так и у Солженицына введены также легенды человеческих судеб, где есть обобщения, схожие с библейскими притчами, — рок уже как Божья воля, причинность временная раскрыта уже как причинность вечная. Легенда о безвинном купце — катарсис по Толстому, катарсис, которым разрешается бытие для Платона Каратаева. И тоже о безвинно виноватом — это сказ бригадира Тюрина, легенда о комвзвода, и это катарсис, но другой. Купец, оклеветанный в убийстве, мучаясь за чужой грех, понимает так, что мучается за свои гре-

хи и по воле Божьей, потому что «мы все, говорит, Богу грешные»; с ним встречается на каторге настоящий убийца, раскаивается, но как приходил указ выпустить невинного купца на волю, стали искать, а он помер — «его уж Бог простил». Тюрин же, уличённый как сын кулака, после своих и не мучений, а мытарств, продолжая жить, вспоминает, что позднее узнал о судьбе своих командиров-судей: «...расстреляны в тридцать седьмом. Там уж были они пролетарии или кулаки. Имели совесть или не имели... Перекрестился я и говорю: “Всё же ты есть, Создатель, на небе. Долго терпишь, да больно бьёшь”».

Солженицын однажды высказал прямо свою личную версию Каратаева. Насколько была она для него определяющей в его собственной работе, то есть имела ли на неё такое же прямое влияние — об этом утверждений его нет. Не соглашался же он с Толстым так, будто б Каратаев принадлежал не толстовской эпопее, а самой жизни: он, Каратаев, — вовсе не всепрошонец и не такой уж простодушно «круглый», так вот утверждал Солженицын, он хитрит, ловчит, понимая по-своему, что в этом мире да почём... Что же затаилось в Каратаеве, какая такая душа? Все душевные качества каратаевщины проявляются ясно, резко в Шукове, обретая вовсе другой смысл.

Является не праведный человек, а «правильный зэк». Праведности нет, а есть правила, неписанные лагерные рабские законы: «Вкалывай на совесть — одно спасение». Но в том, что делал Каратаев ради спасения, исполняя правила жизни

в бараке, Толстой увидел глазами уже другого своего героя, Безухова — осмысленность и праведность муравья, что тащит и тащит свою соломинку в общую кучу, создавая мир и жизнь. Безухов различил мужика в бараке по запаху, но ведь и мужик без ошибки различил в полутьме, в потерявшем свои сословные одежды человеке, барина — не иначе ведь тоже по запаху: « — А много вы нужды увидели, барин? А? — сказал вдруг маленький человек». После делится с ним он «важнющей» из супа картошечкой, а откуда она у него? почему вдруг-то *барина* подкормил?

Вся суть в том, что вот перед нами два природно русских человека, барин да мужик; тот, кто ничего не умеет сам себе добыть, и который — всегда себе заработает, кому «деньги приходили только от честной работы». Служить — это и есть честная работа душевного раба, а чтобы работать да выживать, нужен ему так вот душевно барин, хозяин.

Тут уже не один атом, а два, в своём соединении: Каратаев — Безухов, Шухов — Цезарь. Мужики — и через сто лет солдаты, а господа сменяли профессию; Цезарь не граф и не дворянского сословия, а, видимо, из творческой интеллигенции, но этот советский интеллигент — барин. Что удивительно, барством не веет от конвоя, от начальства, но шибает от Цезаря, хоть он в бараке такой же арестант, как и Иван Денисович. Шухов же притягивается именно к Цезарю как магнитом; как магнитом притягивает во тьме кромешной барака мужика к барину. Между двумя этими людьми, этими атомами, есть такая вот притягательная сила даже в бараке, потому что Цезарю «раз-

решили» носить чистую городскую шапку, а Безухову «разрешили» выбирать, в каком балаганчике, с офицерами или с солдатами сидеть. Француз-конвоир тоже никогда бы не поделился табачком с Каратаевым, а с Безуховым ему есть о чём говорить, Безухова он угощает как равного. И потому барин так важен становится мужику, что только через барина может просыпаться и ему крошка табачку: манит запрещённое, манит та действительная явная свобода, воля, которая в самом есть только как тайное действие.

Но Цезарь делает то, на что Иван Денисович, работяга, неспособен уже нравственно: Цезарь устроил себе и в бараке полубарскую жизнь тем, что «смог подмазать начальству» и ещё вовсе-то не постыдился взять в услужение себе подобных, поставить себя во всех смыслах выше таких же, как сам, собригадников — выше шуховых. А на каком основании? А на том, даже внешнем, что ему «не о чем было с ними говорить», что он с ними общих не имел мыслей и прочее, скажем, об искусстве. Из всех Цезарь близок только с кавторангом, остальные — не ровня, и если даст он Ивану Денисовичу окурочек, то за службу, а не по душе.

Шухов, раб лагерный, способен без всякой выгоды вдруг пожалеть Цезаря. Такой же жалостью к Безухову способен проникнуться и Платоша Каратаев. Но вот и Безухову было не о чем говорить с Каратаевым — он только его слушал. Окажись Безухов на сталинской каторге — быть ему, как и Цезарю, придурком, сживал бы тоже в натопленной конторке. Даже когда должны Каратаева пристрелить как собаку — нечего Пьеру сказать

и жалости существенной к издыхающему солдату нет; потому нет жалости, потому не жалеет, что слабее ведь он этого мужика — даже умирая доходягой, тот оказывается духом своим сильней барина. Оказывается, барин в России душевно слабее своего раба! Но не иначе и Каратаев ждал, как ждал Иван Денисович, стоя столбиком при Цезаре, что заметит его Безухов да «угостит покурить», но и о нём — не помнили.

Загадка другая — почему барак для мужика становится как дом родной? Для него работа — свобода. Что считает Шухов в лагере с о и м — всё, до чего коснулся своим-то трудом. Он кладёт и стену лагерную, как свою. Ему жалко обломка пилки, и он рискует из-за неё жизнью, потому что жалко уже то как своего. Что воля, что неволя, будто ничего у него не отнимают. Но единоличие, с другой стороны, тому же Шухову в мыслях его о колхозных мужиках, что не ходят на о б щ и е р а б о т ы, ради своего огорода и прочее, отчего-то претит. Он общее воспринимает как своё — вот разгадка. Он делает для людей, то есть во имя о б щ е г о, как для себя. А для барина своё — это то, что он отделил себе от общего. Только конторка для Цезаря — своя, и он не ходит на лагерные *общие работы*, потому что именно работать может только единолично, только для себя.

Но в то же время в барине есть неожиданное моральное превосходство над мужиком: чего нельзя честно заработать, то Иван Денисович или Каратаев умыкнёт, сворует — лишнюю порцайку или обрезков на обмоточки. Вот и скармливает Платоша «важнющую картошку» Безухову, и тот съе-

дает с восторгом жизни, не согрешив, а ведь могла это быть та картошина, которую б Каратаев умыкнул, своровал из котла, как делает это без зазрения совести Иван Денисович — с него-то, с мужика русского, станется, «что он, миску стережа, из неё картошку выловил». Так подкармливает русский мужик безгрешного русского барина ворованной картошкой, продлевая-то барский век!

Но ловчить на лету — для мужика «правильно», потому что нет в его голове мыслей о праведности, а есть вот уж именно простодушная мысль, что мир никому не принадлежит, а если и принадлежит, то всем — и это правильное, справедливое положение мира. Каратаев в солдаты попадает, как в наказание, потому что поймали на порубке в чужом лесу, понимай так, что в барском. Так вот, для барина грех — это когда мужик дровишек в его лесу нарубил. А мужик и не подумает, что грешит, для него всегда подспудно этот барский лес был ничьим, общим, всечеловеческим. И за такие грехи — не заставишь мужика мучиться. Потому есть ложь в том, что Каратаев умиляется, когда Бог ему смерть дал, будто грехи простил, но нет лжи в том, что Иван Денисович крестится, когда надо пронестись над гибелью, а «с благодарностью» за спасение уже не крестится.

Толстой хотел видеть религиозный тип в Каратаеве; Солженицын в Шухове — увидел без прикрас честную земную мужицкую веру, проговорив, что страдает Иван Денисович не за Бога и главный его вопрос: за что?! Так и Безухов не понимает: за что?! за что страдают люди безвинные? И это вопрос, который чуть не отменяет в России

Бога. Возвращает «счастливый билет» в царство Божье Иван Денисович, но это же и карамазовский вопрос, вопрос уже для человека по-господски просвещённого, образованного. В России будто бы никто — ни мужики, ни бары — не в силах верить в такого Бога, каков он есть, но как духовные рабы уже в высшем порядке жаждут душевно Господина, Хозяина над собой: жаждут другого Бога с такой силой, что уже ему и служат и верят, как если бы не пусто это место — как бы где-то там он уже есть, тот создатель, что долго терпит да больно бьёт! Вопрос — за что?! — решается почти ветхозаветной местью жизни; таким сиротством, таким раскольничеством, что вся-то жизнь уходит в барак, где грехи всех сваливаются в один грех, в одно греховное месиво; «Я же не против Бога, понимаешь. В Бога я охотно верю. Только вот не верю я в рай и в ад. Зачем вы нас за дурачков считаете, рай и ад нам сулите?»

Солженицын миловал Ивана Денисовича — не казнил. Он сродняется с ним душой, оставляет кое-где недосказанности, чтобы было ему куда расти, но честно сам же описывает, что расти ему только и можно — от сих до сих. Шухов почти освободился, почти отбыл свой срок, но на свободу уйдёт — делать, как на лагерной фабричке, всё равно что зэк, «дешёвые крашенные коврики»... «Один день Ивана Денисовича» — это не лагерь, увиденный глазами мужика; это лагерь, увиденный глазами Писателя. Солженицын заблуждался, когда утверждал, что Толстой писал с в о б о д н о — в силу своих обстоятельств эти два писателя

свои взгляды самые сокровенные всё же глубоко запрятавали, отбрасывали от сокровенного обманную тень. Хотя был сокровенен Толстому этот мужик, а вот оглушил он его, принизил лиловой кривоногой собачкой.

Солженицыну, кажется, в рассказе его был сокровенным не только Иван Денисович, но и мелькнувший под самый конец рассказа человек — и мелькнувший-то не иначе как тенью Ивана Денисовича: «Теперь рассмотрел его Шухов вблизи. Изо всех пригорбленных лагерных спин его спина отменна была прямизною, и за столом казалось, будто он ещё сверх скамейки под себя что подложил. На голове его голой стричь давно было нечего — волоса все вылезли от хорошей жизни. Глаза старика не юрили вслед всему, что делалось в столовой, а поверх Шухова невидяще упёрлись в своё. Он мерно ел пустую баланду ложкой деревянной, надщерблённой, но не уходил головой в миску, как все, а высоко носил ложки ко рту. Зубов у него не было ни сверху, ни снизу ни одного: окостеневшие дёсна жевали хлеб за зубы. Лицо его всё вымотано было, но не до слабости фитиля-инвалида, а до камня тёсаного, тёмного. И по рукам, большим, в трещинах и черноте, видать было, что не много выпадало ему за все годы отсидиваться придурком. А засело-таки в нём, не примирится: трёхсотграммовку свою не ложит, как все, на нечистый стол в расплесках, а — на тряпочку стираную».

Только в полуслове даны детали, только взгляд молчаливый указывает — вот он! Тот, который знает, за что терпит. Но и терпение его — это не

всепрощение, а это терпение в непокорности, в сопротивлении окружающим нечистотам и злу. Это тот человек, в ком сохранилось достоинство человеческое. Не раб и не барин — человек. Тот, что не покорился общему во зле и жить не стал по тем правилам, что и все. Но ни Толстой, ни Солженицын так и не сознались до конца и не произнесли с в о б о д н о, что Каратаев и Шухов были лишены всех человеческих прав, были примерными рабами.

Сострадавая рабам, желая видеть в рабских, рождённых неволей чертах русского человека не темноту и порчу, а свет страдальческий, добровольно обманывалось и всё сословие русских писателей. Всё это сословие — свободное — вместо того, чтоб проклясть рабское и в человеке и в жизни, рассказывалось безуховыми да цезарями в своём барстве, а каратаевыми да шуховыми избывало виноватость за свободу своего-то положения перед порабощённым русским мужиком. Раба в России это сословие не осуждало и не проклинало, а жалело да любило, дела само рабство уже религиозным, надмирным каким-то состоянием, видя в рабах святость да праведность. Иван Денисович по Солженицыну оказывается в конце концов тоже праведником, за праведность всё автор и прощает ему, однако из-за плеча этого праведника указал нам уже не на раба, а на ч е л о в е к а — на того, кто «трёхсотграммовку свою не ложит, как все, на нечистый стол». Этот стойк, узник своей совести — такое же русское явление, что и раб душевный. Солженицын написал этот образ в помощь Ивану Денисовичу, желая видеть уже двух этих русских

людей — праведника и стойка — основой, твердью. Но что скрепляет своим душевным рабством Иван Денисович? Кажется, только рабство он и делает в своей душе сильней.

Так по пути ли им?

Солженицын, наделяя Шухова частичкой своей души и прошлого, сам не обратился в это же обаятельное рабство своей судьбой: любя шуховых, сострадая шуховым, и он-то в своей жизни «трёхсотграммовку свою не ложит, как все, на нечистый стол». Но, с другой стороны, Солженицын писал уже в ту эпоху, когда для большинства русских людей растворилось понятие Родины, понятие их русскости и общности как народа. У одних не было ничего за душой, кроме советского их настоящего. У тех, кто призывал восстать из скотского состояния, было сильно убеждение, что люди жили в советское время не на своей родной земле, а в «системе», в «коммунистической империи», будто с рождения надо знать, что та земля, где ты родился по воле Божьей, — это не родина, а чужое тебе «системное» образование, где уже за таился в твоём же народе внутренний враг, душитель твоей свободы.

Это отражение зеркальное советского иезуитского духа воспитывало уже в людях свободомыслящих ту же чуждость, как у бездомных, — что у них нет ничего родного и святого, кроме пресловутой этой «свободы». Солженицыну в Иване Денисовиче было сокровенным, что этот человек хранил в себе чувство родины... Всё кругом родное, хоть и скотское. Страшно восстать — страшно рушить

родное. Страшно бежать, потому что некуда бежать со своей родины. «Но люди и здесь живут». Катастрофу Солженицын почувствовал в том, что некому Россию полюбить, будто и нету её у русского человека, родины-то. Катастрофа — это лагерный русский народ без своей земли и чувства родины, да лагерная русская земелюшка — без своего народа, что давно уже никому не родина. А с этой своей простодушной любовью к родине, ко всему родному и делается Иван Денисович неожиданно стойким и главным для Солженицына человеком, его-то атомом восстановления.

Где находит успокоение, согласие духовное с миром русский человек, где же его «счастливый день» — вот развязка обоих творений, но ведь эта развязка не была финалом самой русской истории... Да и что там истории... А если в другой раз не обманет Иван Денисович вертухая, проноса что-то запретное на зону? Круги расходятся и расходятся — недаром замысливал Достоевский «Житие великого грешника», потому что никогда в судьбе русского человека первым кругом ничего не кончалось, а скорее даже, что наоборот — первый круг только давал роковой разгон судьбе. «Красное колесо» должно было провести нас всеми этими кругами, но круги расплылись дальше и дальше; стоило одолеть один круг истории, как возникал новый — колесо не катилось, а охватывало обручем своего рокового бесконечного кольца. Но Солженицын в «Одном дне Ивана Денисовича» показал то, что кроется внутри этих кругов.

Солженицын не создал духовного учения, потому что его энергия сопротивления и его одиночество человека непримирившегося никак не могли обрасти толпой, пускай даже ревнителей и сподвижников. Литература — главное дело его жизни, сфера его долга и ответственности как художника, но не вершина для влияния... Человек верующий, обретший веру, он не проповедовал власть духовную Церкви. Не преломилась в личности его и сама Власть. Он остался от неё в отдалении, не сближаясь с ней, даже для борьбы. «Письмо вождям Советского Союза», «Как нам обустроить Россию», его политическая проза — это не заявка на Власть, а гражданское к ней послание человека, далёкого, в силу своей любви к России, от всякой политики. Солженицын — это русский человек, и не один он таков; тот русский человек, что отыскал в этом веке и правду, и свободу, и веру. Отыскал во тьме кромешной рабства, будто бы лучик света, свой ясный да прямой путь.

ИЗ ДНЕВНИКА БОЛЬНИЧНОГО ОХРАННИКА

Мой больничный дневник оказался сцепкой многих вопросов, точнее, он неожиданно породил для меня такие вот вопросы: имел ли я нравственное право его публиковать? понимаю ли, какое он производит действие на людей? и многие другие. У дневника была поначалу только история написания: литература не давала денег, просто не на что было жить совсем молодому человеку, а уже есть семья, ребенок — и вот, безработный, получил чудом место в больничной охране, стал изо дня в день ходить на службу. И так было три года, пока не сбежал с этой работы однажды осенью, когда возможно стало отыскать другой заработок. За годы службы у меня не напислось почти ни строчки прозы, потому что не

было таких душевных сил. Но возвращаясь со службы, после смены в больнице, я все же садился и записывал увиденное — и все три года писал этот вот дневник.

Больничный дневник — триста страниц беглых записей, сделанных наживую без всякой возможной обработки, притом человеком, сжившимся со шкурой охранника; а ведь я только сбежал из конвойных войск, где тоже был охранником. По ощущению это было так, как если бы я из одной зоны попал в другую. Мир и так стал для меня после службы в лагерях и увиденного там баракоподобен, но вдруг в благополучной Москве, в обычной больнице я увидел почти тот же барак — ту же самую, полную всяческого угнетения жизнь.

Это было тем безысходней, абсурдней, что ведь теперь я оказался в шкуре охранника по собственной воле, а не по принуждению; что все входы и выходы больницы были свободны для людей; что даже самый строгий больничный режим — был пародией на заключение. А моя жизнь и без того была раздвоена, потому что в одном лице, в одном реальном времени я совмещал в себе два существа: в больнице, с дубинкой в руке и прочее — это был охранник, а тем же вечером, скажем, на букеровском обеде, куда под вспышки фотокамер я ехал прямо с говенной своей службы, только отработав смену, — это был молодой литератор, какая-то там надежда какой-то там литературы.

Так вот ото всего — и от литературы, и от второй моей скрытой жизни, в больнице, — меня стала отделять со временем стена одинакового отчужде-

ния, то есть моя душа стала как стена. И я повсюду, по обе стороны, незаметно для себя, сначала внутренне, а потом так, что этого уже было порой невозможно скрыть, стал чужой. В больнице — доходило до драк, но, боясь остаться безработным, я так и цеплялся за свое место в охране, хоть выталкивали прочь. В литературе — навешивали всю ярлыки убогого реалиста, чернушника, который ищет, где погрязней да пострашней.

В декабре 1995-го я наконец написал первый после двух лет молчания рассказ. Рассказ, святочный, мне заказала «Литературная газета» в свой новогодний номер. И я написал «Конец века» — историю бездомного, которого привозят под Рождество в больницу, где его равнодушно, бескровно умерщвляют, то есть буквально ждут, когда он умрет, чтобы не возиться с ним, но его труп после бесследно пропадает из запертого наглухо подвала морга, а это непостижимое исчезновение становится только страшилкой в хронике-однодневке столичных газет. Это был невыдуманный рассказ, а для меня он искуплял очень многое — был тем выбором, который я смог уже до конца для себя совершить, когда написал то, в чем сам-то малодушничал столько времени дать себе отчет. Но этот рассказ в литературном мире поскорей объявили самой отвратительной моей чернушной выдумкой, которую читать уже вредно даже для здоровья и прочее, прочее. То есть я оказался как тот клоун на арене цирка, который, умирая, смешит публику, и чем сильнее его неправдашная корча — тем смешней. А потом я приходил на службу в больницу и повторялось то же,

что стало-то уже сюжетом рассказа и что происходит там через день: привезли бомжа, свалили в ванну, ушли на часок, чтоб не стричь, не мыть, не лечить, а когда он дозрел до смерти, то вытащили труп, свезли в морг — и смыли грязь, что осталась от него в ванной да на полу...

У меня появилась вера, что это нравственно необходимо знать всем, иначе все общественное устройство и устройство каждым личного благополучия оказывается насквозь порочно и лживо, потому что строится оно не иначе, как на смерти такого вот безымянного бездомного. И плохо мне было не потому, что литературные критики мне посылали похоронки как писателю. Мне стало казаться, что это я сам, претворяя безвестную смерть несчастного человека в прозу, посылаю его умирать в литературу, как на арену цирка, и делаю эту вот смерть небывшей, почти игрой. Так я осознал, что должен опубликовать свой дневник, отказавшись вовсе от вымыслов, и стал искать пути к этой публикации, однако того уже не осознавая, что дневник снова превращает меня в охранника и высвечивает ярко мою собственную физиономию — человека, который знает, что пишет постольку, поскольку сам был замешан в происходящем.

Восемь отобранных страничек дневника взяли в «Литературную газету», где фигура писателя, работающего в больнице, показалось экзотической, была востребована, но вот пошли письма от читателей, одно из которых, подписанное пенсионером, «Литатурка» уже через три номера уважительно опубликовала в спину ушедшему

в небытие моему дневнику: «...зачем вы печатаете эту чернуху... зачем автор это выдумал... зачем читателям это знать...» А сам я получал и другие письма, написанные разными людьми: «мы все-таки не в лагерях, уважаемый писатель», «неуважению, презрению, цинизму не должно быть места ни в больницах, ни в писательских трудах о больнице», «почти всех умерших людей вы называете “труп”, герои ваших заметок — это тоже не люди»... И это был «глас народа», чего ж здесь скажешь.

Так в действительности отнеслось большинство обыкновенных простых людей к тому, что и могли бы узнать только из такого дневника: не захотели этого знать. Открытые же выступления о том, что происходит в Москве с бездомными, неожиданно снискали мне в литературных кругах славу «мужественного и честного», а несчастные, отверженные люди так и погибали на улицах хуже собак.

Всякое слово проваливается теперь неизвестно куда, в пустоту, а чем громче и натуральней орешь, тем больше привлекаешь лично к себе внимания да похвал, что хуже всякой пытки и сводит с ума: стоит сделать хоть шаг, а он превращается тут же в позу. Тень сильнее человека. Она всё существо его пожирает, она уже хочет управлять всем и вся. И вместо жизни видна только одна эта игра теней. Сознание человека — как промокашка? Впитало очередное «грязное» пятно — и это пятно высохло? Одному человеку и возможно изменить только одну свою жизнь, но если ты часть общего и есть одно на всех угнетение, то от него

ты в одиночку не избавишься, но воле общей буд-
то и неоткуда взяться.

Дневник, хоть он по сути своей представляет то, что человек скрывает от чужих глаз, у меня стал чем-то обратным: туда писалось изначально то, чего нельзя было скрывать. Это документ, свидетельство о реальных событиях и в чем-то о реальном дне жизни, тогда как дном жизни сегодня оказывается всякий пяточок земной тверди, где люди лишаются опоры в самих себе и не могут выкарабкаться.

И я там был — это мой голос человека.

Позвонили из реанимации и вызвали забирать труп. Кто-то сказал, что это умер старик, который только успел поступить в больницу, и его даже свезли в неврологию, а умер он по дороге из неврологии в реанимацию. На полпути умер. Я чего-то медлил, ждал напарника, чтобы вдвоем управиться. Спустя какое-то время вбежали в приёмное запыхавшиеся женщины — бабка, женщина и девушка, сказали, что им надо в реанимацию — что ихнего больного в реанимацию из неврологии перевели — и я понял, что это они о старике, который только помер.

А у меня уже на столе лежал на него сопроводок, чтоб спускать в подвал. Спросил, время затягивая, фамилию. Говорят, Антипов. Я краешком глаза поглядел на сопроводок — и там Антипов. Сказал пройти дочери, но смолчал о смерти, а бабку с девочкой вроде как не пропустил, сказал, что в реанимацию запрещается пропускать по

многу людей. Женщина засуетилась, собрали они наскоро ему пакет, где ложка, вилка, минеральная вода и всякое такое — и ушла. Бабка с внучкой тихонько устало разговаривали. А мне сделалось удивительно: хоть я и знал, что он уже умер, но для них он ещё был живой. Сказать о смерти, так вот, с порога, я бы не смог. Но минут десять он для них ещё был живой, а у меня на столе лежал на его труп сопроводок. В те десять минут я больше всего боялся, что явится мой напарник да чего-нибудь гаркнет, так что всё станет понятно.

Времени прошло столько, что женщина уже должна была подняться в реанимацию и узнать о смерти отца. Теперь отсчёт начинался совсем другому времени, её горю, которое я пережить не мог, а как бы поминутно для себя отсчитывал, отсчитывая-то, что вот сейчас она появится в приёмном и на глазах моих как бы произойдет эта смерть, о которой я знал только по сопроводку. И вот она спустилась в приёмное. Старуха всё поняла по её лицу и заплакала, они обнялись. Только девушка не плакала, а была испугана и сидела бездвижно вытаращив глазки. Прошла ещё минута — и все уже смирились с этой смертью, она прошла невидимо сквозь них. Что-то их будто бы и утешило, не понять, правда, что. Может, старик долго мучился и понимали они происшедшее как избавление для него от мук. Они вдруг стали добрее, нежней, очень ласково друг друга называли — обнялись и побрели. А потом, спустя время, появился мой напарник — и мы побрели за каталкой, за трупом старика.

В больницу привезли совсем древнюю да и больную бабу, но была она в сознании, к тому же её сопровождала и всячески заботилась о ней по ходу всех обязательных процедур дочь. Бабу была вся укутана, из платков и шерстяных одеял торчал буквально один красный нос. Сделали ей рентген, взяли на анализ кровь, прослушали, конечно и кардиограмма – словом, она в больнице уже так с два часа. Когда осталось дооформить больничную карту, то бабу, замлевшая и оставленная наконец в покое, проговорила из одеял: «Зинк, а можно мене здесь остаться, так хорошо, хоть помирай». Пока её не отправляли в отделение, она ещё и запела: «Зинк, а Зинк, ты подпевай мене, чего ж я одна...» Когда повезли в коляске, то петь перестала и до того сморилась, укаталась, что даже вздремнула. В палате кровать застилается под человека; как поступит в палату, так и станут стелить. Санитарка стелит белье и покрывает матрац холодной клеенкой. Дочь той бабу просит клеенку холодную убрать, а санитарка делает свое и огрызается: «Она обоссется, а откудава я новый матрац возьму?» И тут опять бабу подает голос: «Гражданочка, со мной никогда этого не бывало и сегодня не будет». А санитарка знай свое: «Видала я вас, сначала не будете, а потом...»

Привезли старика одинокого с истощением. Всё время упирался, мычал. Его помыли, чего он не хотел. Медбрат бил его в грудь со злости, когда тот пытался подняться. Этот человек, его сразу врачиха стала называть Толиком – первое попавшееся имя, чтобы обращаться к человеку,

а не в пустоту, — всё время что-то пытался сказать, но услышать его уже было невозможно: ртом двигает, мучается, а ничего, кроме свистящего хрипа, не слышно. Я его наугад спросил, может, хочет домой — и он удивленно закивал головой. Я был единственным человеком, кто его услышал в тот день. А потом его положили в отделение, хотя я сказал, чтоб успокоить его, будто везут домой. Вечером он умер, а дома у него вроде как и не было — его привезли с истощением и со следами, будто ребра свинцовые, — похоже, что палкой лупили. Я поглядел в сопроводительный лист, когда в подвал свозили, а там так и прописано — «неизвестный». То есть бомж.

Женщина, молодая бомжиха, рожала прямо в приёмном покое. Привезли с улицы. Не кричала, так что многие и не знали, что роды идут. Тут прошёл слух, что родила и уже отказывается от ребенка, — и набежали бабы, которые не могут забеременеть, их у нас от бесплодия лечат: все просили навзрыд этого ребеночка, думали, так вот просто им его отдадут.

Травили тараканов в поварском цехе. Мужики тамошние, чернорабочие, обрадовались, что начальство ушло, и устроили в отравленном цехе пьянку, сами себе хозяева. Наутро картина: кучидохлых тараканов, стар и млад, и валяются на полу в тех же тараканьих позах мужички. Хозяйка заорала — оживились, расползлись, встали. Не только остались живы, но чрезвычайно хвалили пьянку, говоря, что такого удовольствия ещё в жизни

не ведали, чтобы водка так за душу брала. Дихлофоса надышались — вот и погуляли, насладились, будто в лесу или в бане. Но травят тараканов раз в год. Получается, раз в году у них ещё один день праздника, это в прибавку к общенародным. Но тут праздник так праздник: как бы подошли, а потом будто воскресли — восторг жизни ни с чем не сравнимый, младенческий. А сами хохочут — что тараканов-то травить без толку. Говорят, если на таракана, которого морили, приснешь водой — то он оживает. А у них тут в поварской — пар да вода отовсюду хлещет. Тараканы оживают через несколько часов — и сматываются под шумок.

Старшая медсестра уезжает отдыхать в Сочи. Для неё это событие. Низший персонал, где бабы сидят на ста тысячах зарплаты, её счастьем и рады, но и обзавидовались. У них, у санитарок, нет теперь возможности доехать даже из Подмоскovie, где живут, до места работы. Электричка вздорожала в семь раз, так что если ей пользоваться, то требуется сто двадцать тысяч. Бабы потрясены и отчаялись. Ходили в администрацию, чтобы им дали дотацию на проезд до работы, но им отказали, а тогда и нету смысла работать, если расходы на проезд съедают всю зарплату. Не знают, где им теперь работать и чем кормить семью, сидя безвылазно в своем Егорьевске. А вот старшая отбывает на юг — как на другую планету. К морю. Ей дают много душевных советов, чтобы собирала волосы в пучок — так лоб и лицо покрываются ровным загаром. Сам рассказ, как она звонила в кассы вокзала, заказывая плацкартный билет, звучит

без конца и без начала, точно песня акына. Озвучивает долго со всеми неизвестно откуда взявшимися подробностями, как с ней вежливо разговаривали по телефону, будто этот разговор что-то изменил в самой её жизни. «А она мне, девки, говорит...» Потом всё бабье начинает по очереди вспоминать случаи из жизни, связанные с поездками, билетами. В тех же сильных нескончаемых красках, вздох и с чувством какого-то торжества — что всё как у людей, что и мы на поездах ездили, и доставали билеты. Начинают спорить, как лучше ездить на юг — в купейном или в плацкарте. Старшая взяла плацкарт за восемьдесят тысяч, ей бы иначе и не хватило, она и смогла с деньгами только потому, что проживание с питанием оплачивает профсоюз медиков, — и вот с чувством собственного достоинства рассуждает о полезных сторонах плацкарта, что он именно гораздо лучше, чем купейный: едешь с людьми, так спокойней и целей по нынешним временам, а в купейном и изнасиловать могут. Ей кто-то тут же возражает, щеголяя каким-то фактом из личного опыта, кто-то поддакивает, что вот ехала купейным и вправду чуть не изнасиловали.

Старик с наколками, который с каталки просился поссать и которого уговаривали потерпеть, будто раненного — что вот скоро доедем, чтобы он дождался туалета. А транспортировали его на каталке долго — по лифтам с этажа на этаж, долго их дожидаясь, и по змеевуку ядовитых больничных полуподвалов с коридором. Доставили в отделение, быстрехонько скинули на койку, сбывли

с рук, а напоследок поставили в известность дежурную этого отделения сестру, что старик с самого приёмного покоя ссать просится, а она уже уложила его на матрац, на свежие простыни и теперь заболевает у неё сразу голова. И вот она уже уговаривает, повелевает старику: «Терпи, только попробуй мне на чистое обделаться — положу тогда на пол, на тряпку!» Старик пугается. Дежурной выходит передышка, а мы уже укатываемся и старик именно нас, пообещавших ему туалет, отчего-то провожает как родных слезящимися от нетерпению глазами.

Мужчина с язвой. Всё лицо побито — теряет сознание и падает, ударяясь лицом. От каталки отказывается, боится — «чего из меня инвалида делать». Когда ему делают гастроскопию, то есть впихивают в него через глотку то ли шланг, то ли кабель, он стонет, и его жена, сидящая за дверью, плачет и затыкает себе уши — как бы и бежит от него, от его боли, не в силах вытерпеть его стонов, но, с другой стороны, потому и нет в ней сил их вытерпеть, что она его всего любит и переживает его боль, любя его, вчетверне. Оттого-то ей так невыносимо, что этого никто и никогда бы не смог вынести — боли любимого человека. Вся её кричащая слабость, трусливая унижительная дрожь и горящее лицо — это любовь. Потом она ведёт его под руку, смирившись, что он отказался от каталки, и ждёт только одного — что упадет и опять расшибётся в кровь. А лицо его и вправду всё в запёкшихся корках и синяках, как у забулдыги. А он ведь язвенник, он даже о капле водки не может подумать.

Женщина, которая тягала на адской низенькой каталке то ли мужа своего, то ли отца — в горку, без помощи со стороны, как выяснилось, на перевязку. В каталке, из-под одеяльца, проглядывает голое истощённое существо. Понятно, что не жилец. И тут её яростное, с ненавистью, упорство — чтобы не дай бог не везли его вперёд ногами, когда я помочь ей взялся. Пожалуй, она возненавидела меня — дальше помогать почти не дала. Я-то для неё умер, стал ничтожеством, а вот который в каталке — был всем, такова, точнее, была сила её воли, даже чем-то пугающая. И другая женщина уже вечером — та же почти картинка, когда возила на перевязку свою тётку. Сама она появилась у меня на глазах, робкая и покорная, неделями двумя раньше, когда искала эту тётку в хирургии, а нашла в реанимации — тут даже обрадовалась, что нашла, а то мотали её по больнице без толку, ничего не разьясняя. Потом навещала каждый день. Очень добрая, нежная. С виду внушающая какую-то к себе теплоту, будто воробушек. И вот вижу — идёт плачущая по коридору. Не довезла. Будто, как ни старалась, не осилила. Там была у тётки какая-то тяжёлая запущенная грыжа.

Хирурги, молодцеватые, розовощёкие, успешливые в работе, а значит и в деньгах, ребята — пьют, модничая, только американский джин, а когда напьются, то переодеваются в спортивную форму и отправляются играть в футбол. Новый стиль жизни! Но какой-то он игрушечный или уродский. Хоть, может, так теперь и будет: на-

пиваться, но тем, что модно; любить женщин, но для здоровья, давая волю чувствам не в любовной страсти, а в извращениях; похмеляться не иначе, как футболом, переодеваясь в спортивную форму.

Повариха с кухни одарила нас медовыми пышущими яблочками. Мне с килограмм — и санитарке, Катерине, столько же насыпала в подол, сколько влезло. Одарила со слезами, впихивала чуть не силком. Эту сердечную женщину наши в сердцах обвинили, что она ворует — сумками тащит. Что правда — все они там тащут, от заведующей до последней пьяни чернорабочего. Но эта вот обиделась, не могла такого обвинения на дух осознать, начала терзаться: «Я воровка? Это я-то воровка?!» — со слезами в глазах, и давай нас одаривать теми яблочками, которые не иначе как для себя припрятывала, откладывала в ведро, то есть воровала. «Вот, берите родненькие, сколько хотите, ешьте на здоровье, ешьте! Вам ведь тоже витамины нужны!» Порыв этот был самый женский, самый искренний, самый русский — отдавать ворованное, но без сожаления, именно как своё, отчего-то уже и не ворованное, а кровное.

Труп по фамилии Долгих. На ноге зелёной год рождения и анамнез, в общем, мужик тридцати пяти лет, молодой, скончался ночью в реанимации — траванулся, не сумели откачать от опоя. Но тут, когда хотел на каталку сваливать, являются мне его неживые глыбистые ступни, на кото-

рых поверху две татуировки, будто на мраморе
высекли:

КАК
МАЛО
ПРОЙДЕНО
ДОРОГ

КАК
МНОГО
СДЕЛАНО
ОШИБОК

Ноги связаны бинтом, так что и читаются строфы не раздельно, а слитно, одним предложением. Я увидел стишки, когда переваливал его изножье на каталку. И он, Долгих, навечно, остался в моей памяти, и эти строки есенинские в мозгу у меня теперь выжглись.

Медбрат, подъедался в приёмном покое — паренёк, эдакий плюгавый и неуравновешенный. То и дело под глазом его является синяк. Вот история, мне известная, об одном из синяков. Налили ему сестры винца, а он со стакана опьянел. Опьяневши же, а дело было глубокой ночью, поднялся на этаж, то ли в терапевтическое, то ли в неврологическое отделение, где принялся вытряхивать больных из коек, выстраивая, насмерть перепуганных, строем в коридоре. И люди-то выстраивались, никак пьяному нахалёнку не перечили, позволяя творить над собой чёрт знает что, эдакий парад. Но один мужик, что-то уразумев, заподозрив, хоть и с опозданием, но вышагнул из строя и дал в глаз.

Многие бездомные, то есть бомжи, умирают на санобработке, когда их отмывают в ванной — не выдерживают горячей воды.

Женщина с обморожением стоп. Приличного вида, хоть, может, и пьёт, иначе не понять, как умудрилась обморозиться. Её не приняли в больницу и отослали в травмопункт, что находится через улицу. Ей надо было спуститься с обледеневшего пандуса и т.д. Дорога по льду, без пешеходных переходов, а у неё костыли. В общем, я свез её на каталке, хоть мне было велено её просто поскорей выпроводить. Даже когда она спросила у меня воды и я принёс, это вызвало у медперсонала раздражение, будто я им осмелился перечить. Женщина мне прошептала неловко, дескать, спасибо родненький — как старуха, хоть на деле ей лет тридцать, чуть старше меня. Просто некому было ей помочь.

В больнице приёмной сестрой на аборт поставили баптистку; к ней приходят женщины на прерывание, а она их встречает смертным грехом да начинает отговаривать от детоубийства безбожного. Кого-то до слез доводит, кто-то из женщин, побойчей, её матерно посылает — рожу, дескать, а ты бери его, корми; но Егоровне эта работа в целом очень даже нравилась, хоть жалоб столько поступило, что долго она не удержалась. Егоровну уволили из больницы из-за жалоб на нее «абортниц» и потому, что аборт у нас-то в больнице делают платные, имеют почти с каждой абортницы деньгу. Егоровна в последний день за всех молилась, прямо на рабочем месте, в регистратуре: поставила иконку, свечки зажгла, встала на колени и молилась. А все кругом — и больные, и наши — не могли, помирали со смеху. Посетители с улицы —

те думали, что это какая-то сумасшедшая в белом халате.

Труповозы называют тучные трупы «кабанчиками». А тощие никак не называют — для них это всегда какая-то радость, неожиданная, что тощий; что легко будет и уместить, и тащить.

Парализованная бабка с воспалением лёгких в палате астматиков. Те сразу начинают задыхаться от одной мысли, что бабка будет писаться в утку, а того хуже — под себя, и в палате заведётся вонь. Сжиться им невозможно. Понятно, что и астматики и бабка, приносящая неожиданно такое мучение соседкам, будут физически и морально невыносимо страдать. Но другого свободного места в отделении нет. Потрясло, что через силу многие из этих женщин всё же принялись за бабкой ухаживать: инстинкт выживания вдруг был поборот сострадательностью — явился у этих женщин в общей массе порыв не выселить старуху, а хоть чем-то облегчить её страдания, помочь.

Был непостижимый диалог, связанный с золотыми зубами, когда труповозам требовалось их все сосчитать, до семи, а не смогли — пять на виду, а остальные черт-те где глубоко. Замялись — челюсть свело, как разжать? И стали ругаться вокруг воровства. Дескать, возьмёшь труп, а окажется, что зубов и нет. А наши на них обижаются — сдурели, что ли, зачем нам зубы, не брали, мы ж не звери, чего и сомневаться, все на месте, если есть. А эти уклоняются — не брали-то не брали, а если

кто другой своровал. В общем мыкались, а потом один из перевозчиков махнул рукой — ладно, Вась, бери, если что, рассчитаемся за два зуба из своей зарплаты, хрен с ними, наша совесть чистая.

Авдеев. Пьянь. Привезли его чуть живого. Человечище, с громадными выпученными глазами. Тыщонка, вдавленная в кулаке. Как он смирно улегся спать, когда перевалили голого в койку, а наутро проспался и помер. И ещё: всё хранил, даже квитанции из вытрезвителя, чуть не пятилетней давности. Когда снимали с него трусы, чтоб везти в реанимацию, не давал — цеплялся, расставлял козлом ноги. А их взяли, трусы эти, да на нём же лоскутами порезали. Только клочок и остался в его кулаке. Видать, понял, как его ловко обкорнали — и глаза до того выпучил, что в них было даже глядеть невозможно.

Привезли бездомную — просила хлебца, а потом померла. Также в больницу явилась голодающая старуха, просила, чтобы её поселили в больнице — выставили, говорят, нет такой болезни — хочешь есть, иди требуй от собеса помощи.

Привезли молодого наркомана. Орёт, чтобы дали морфия. Фигура жалкая и вместе с тем трогательная — ходил по больнице начальником, требовал себе средь бела дня теофедрина и при том разводил критику в адрес врачей, что они ни хрена не понимают в медицине, что в этой больнице скорей сдохнешь, чем выздоровеешь. От госпитализации отказался — она ему без надобности, всё

равно что таблетка анальгина, но перед тем потребовал, чтобы дали пожрать как человеку больному. Когда он надоед, его выкинули из больницы пинком, как приبلудного пса.

Бедствующая старуха с кошкой, как-то к ней в руки попала бездомная кошка, с которой они похожи — что пальто у старухи вытерто, что шкура у кошки драная. Старуха — в одной руке загробного вида сумка, другой прижимает к груди кошку, которая вырывается от нее. Старуха умоляюще: «Не уходи, не уходи...» Кошка отчего-то вдруг успокаивается — едет на старухе по городу, как в автобусе, эдакой пассажиркой, а старуха бредёт, и бредёт, и бредёт, унося куда-то кошку. Мне ещё показалось, что и в сумку её была запихана кошка или кошки, потому что в ней что-то, как в мешке, шевелилось, пищало.

Среди бела дня из дома напротив стрельнули из дробовика по нашему хирургическому отделению. Паника, вызов милиции, милиция поторчала минут пятнадцать да съехала — и всё остается как есть. После того как милицейский газик смотался, уехал, по стенам опять слышно и невидимо ударила дробь. Через час вызвали нас в неврологию — там старикан бегал с ножом. Напился. Угрожал всем вокруг. Орал, что из зоны. Успокоился ни с того ни с сего, будто что-то и не по его воле переключилось в мозгу. Сидит на койке тихий, смиренный, а мог уже кого-нибудь прирезать, убить, если б не отняли мы у него нож.

Галюня, лифтерша. Атаманша — и вдруг обнажается в ней забитый, жалкий человек; мать над ней стояла и померла, о чём она часто вспоминает именно как ребёнок, хоть ей скоро шестьдесят лет. Как говорит о туфлях, которые ей нужно купить вот уже второй год, но нету денег. Куда больше оказывается в жизни того, перед чем она беспомощна — мать и смерть её, туфли, которых безысходно не может купить.

Мать и сын, видимо, пьяница или наркоман. Как она уговаривала меня заключить его обратно в больницу чуть ли не силой — и докладывала, что он пьянь. Когда я ушёл, он ей говорит: «Сука, иуда...» Похожую картину видел, когда приходили в «терапию» мать и сын. Но там мать заступалась за сына, на которого нам заявили, что его надо выкинуть из больницы. Они навещали кого-то третьего — какого-то кровно родного человека. Она только жаловалась, что он своровал незадолго до этого, ещё дома, какое-то её редкое лекарство, и от него такой стал дурной. Сама, но потому, что не смогла принять этого лекарства, еле держалась на ногах, расшатывалась и падала. А он противно тоже чуть стоял на ногах — и крыл матерно охрану, говоря, чтобы она не разговаривала «с ментами», то ли в забытьё, то ли со зла не замечая, что охрана всё слышит.

Ночью в приёмный покой ломились бандиты, из какой-то «орехово-зуевской» бригады, уколоться им было надо — вот они и наехали на больницу, правда, требовали не наркотиков, а шприцы. Вы-

звали мы ментов, а они приехали и давай с порога с нашими санитарками женихаться: «Ну, девки, доставайте, чего у вас там есть выпить и закусить!»

Была ночь пьяниц, будто нарочно. Самый нелепый, который пришел ложиться на костылях с язвой, а потом пытался торгануть свой костыль за десять тысяч и когда не получилось, то уплёлся без хромоты. Видимо, хотел проникнуть в больницу, чтобы там кому-нибудь продать, зная больницу изнутри, потому что сам в ней лежал, как и признался. С ним были ещё двое, дружки, у них всегда на почве водки образуются стайки — пьющий человек один не выживет, в одиночку они не ходят. И те двое вздумали брататься с санитаркой и так её хотели расцеловать, что чуть-чуть не дошло до драки — стала она кричать, звать на помощь охрану.

Этот день, как целая глыба, рождённая из всех дней, как призрак и взрыв. Чёртов день в больнице. В морге. Труп на каталке, допрос и родственники, я стал понятым и глупый юмор мента, насчет ручек, левых или правых, его стеснение считать золотые зубы, муха, которую я согнал с трупа, а никто не решился, бригада «скорой» — шофёр радуется, весь день в простое, можно будет бензинчику слить. Молодая бабёнка, почти труп. И опять их переговоры насчет Склифа. Вялая работа врачей, не верящих, что стоит что-то делать. Алкаш, которого избивали. Страсти. Маета. Пищеблок. Террор в приёмнике, типы: полковник с же-

ной; старуха, которая меня обвиняла, что я жестокий; другая старуха, которая меня благодарила, что добрый; рокеры; алкашка; женщина, которая отыскала свою больную в реанимации; бабы из Калужской области; армяне; интеллигентная женщина из медакадемии; красотки, в которых во всех есть что-то физиологически сучье, и задёрнутые в ношеное женщины-уроды, бабы, которых до слёз жалко, в которых во всех есть что-то страдающе материнское: может, их-то не е...ут, не хотят, так что они уродуются и состариваются и превращаются в такое мужеподобное, но терпящее ни за что, любящее ни за что существо.

Залетел воробей в стекляшку больничного предбанника, шарахался, летая, об стекла и чуть не сдох. Была и дверь, был и выход, но воздуха, свежести, которыми тянуло из распахнутых дверей, тот воробей смертно не мог учуять, бросаясь-то в стекло, где такой же воздух ему виделся и облачка, от которых его било как электричеством, когда вдруг ударялся.

Сантехник Саша «наливал колбасу» и выпить упранивал с ним «колбасы». В три часа превратился из человека в мычащее беспомощное существо. Как его спаивали, а потом и был он для всех, кто успел протрезветь, посмешищем — и вся эта водочная больничная история, вся эта «водочная эстафета». Работяги эти как оборотни. Пьянеют и трезвеют как раздваиваются. Трезвых их мучает, что они делали пьяными и за что ответственности не несут. А пьяные вытворяют то же, что

и черти: выпили — как продали душу. Вид их как у подопытных животных, будто их спаивают и пьют они водку, а это ставят на них какой-то научный эксперимент.

Бездомная собака. Кругом шпыняют, устала, оголодала, намерзлась. На стоянке уползла под автомобиль, как в укрытие, да там к тому же под днищем его, видать, тепло ещё было от мотора и тихо. Так она и уснула, обретя и как бы выстрадав покой под его днищем, под колесом. А хозяин автомобиля быстренько сделал свои дела и уж завелся, видать, спешил так и весь день. Дал задний ход, выезжая со стоянки — и собаку, не зная того, всмятку. Тут полно бездомных собак, которых тянет в укрытие и тепло, а места другого нету и всё тянет их под машины. И полно людей, которые заезжают навестить родственников, оставляют на минутку автомобили и спешат, потому что и стоянка-то машин у больницы кем-то почему-то запрещена.

Средство народной самозащиты «Удар», которого действия никак не могли проверить, испытали наконец на крысе, какой-то подопытной, взяв из вивария на время, взаймы. Испытали. Крыса даже сдохла. Начальник нашего «чопа» — частного охранного предприятия — как ребенок радовался, что средство такое действие убойное имеет, значит, с покупкой не прогадал. Охранники мало этому «Удару» доверяли, и вот начальник доводил до их сведенья о проведенных на крысе испытаниях, особо приукрашивая крыс, как они жи-

вучи, как высоко организованны — и вот даже содхли, вот как сработал «Удар». То, что крыса содхла, навело начальника на ту мысль, что с таким сильнодействующим средством надо быть даже осторожней: если стрелять придется, говорит, так не в лицо цельте, а только в грудь.

Армянин, или не знаю кто, может быть, и цыган. С виду жалконький, щелкунчик, как топором вырубил, и ещё похож на конька-горбунка. Сутуловат, что-то солдатско выносливое в приземистой поджарой фигуре. Обут в побитые землистые сапоги, с надрезанным и вывернутым голенищем. Грязные до темноты, но не рваные джинсы. Пальто старенькое, крепенькое, как шинелка. Если бы был заросшим щетиной, то с ходу решишь, что бродяга. Трогательным в нём было сочетание душевной крепости, какого-то даже мужества, как если человек никак не хотел мириться с тем, что он — падший. Тем способом не мирился, что оставался человеком, поведения держался человеческого. В больнице появился часов в семь утра. Говорил, что ночью сделали ему операцию и сказали явиться утром на перевязку. Его отослали до девяти. Он подчинился, и поплелся ждать во двор назначенного часа. В девять опять явился, заметно уже хромал, болела нога. Сидел никому не нужный, терпел, все от него открещивались. Уважительно попросил у меня сигаретку. Курить ходил в засранный туалет — в место уж совсем неприличное, но курил он в туалете, потому что ведь обычно и должно в туалете курить. Дотерпел часа три, тогда наконец спустился врач и сделал ему пере-

вязку. Но просил он, чтоб его госпитализировали, потому что очень разболелась нога. Дежурный с утра хирург его принять отказался, но даже отказом не удостоили его сразу, а заставили ждать под дверью этого отказа-то ещё три часа. Он горячо жаловался окружающим и возмущался, что выглядело и звучало щемяще, потому как и жаловаться не было ему нужды — было видно, что он не ходок и к состраданию взывал весь его вид, измученного болью и борьбой за жизнь человека. Но кругом, особенно наши, видели в нём отбросы, бродягу и то, что он ещё что-то смел требовать и возмущаться, родило в наших злость. Его перестали замечать, как пустое место. Кто-то дал ему палочку из сердобольности. Всё это время он ничего не ел и было видно, что его мучает голод не за этот только день. Видя, что я пью кофе, он пожелал мне уважительно приятного аппетита, и только потом спросил, сколько уже прошло времени. Когда ему отказали, он долго не мог уйти и переживал, что надо вернуть палочку. Когда я сказал, что пускай он уходит с палочкой, ведь иначе и не сможет идти — я же видел, как ходил он с утра по стенке — то он горячо выговорил мне, что он не такой человек; что палочку ему доверили на время и он не может обмануть доверия доброго человека, оказаться вором в его глазах. Потом как-то незаметно исчез, и мне стало на душе легче, хоть и горько было думать, куда он такой пойдёт. В конце дня, когда сменялся, я увидел в уголке регистратуры эту палочку, где он её оставил хозяину, которого в приёмном так и не отыскалось, да никто и не стал искать. Палочка была — боль-

шая, толстая, с зелёной ещё корой, простая ветка. А ему не то что присвоить, но даже выдрать себе такую же ветку в голову не пришло, иначе бы ведь и палку присвоил, если мог позариться на деревце как на чужое, а он-то на чужое никак позариться не мог, не позволял себе унести даже той палки, в которой, с искалеченной ногой, единственно и нуждался до невмоготы — до боли. И палку тётя Света, санитарка наша, выкинула, когда ходила вытряхивать под конец дня мусор из регистратуры.

Сытые на рожу оперы из ФСБ, нагловатые, проводили перед первомаем инструктаж, на случай, если захватят больницу в праздники чеченские террористы. Говорят: если что, срывайте свою форму и падайте на пол, чтобы не приняли вас за чеченов, наши и по вам стрелять будут — нет времени целиться, так что не высовывайтесь, ждите, когда скажут вставать.

Обычно это бывает так: входят трое, а то и больше, самого опущенного изгойского вида, из них один, поприличней (такие всегда у них за главного, на ком хоть пиджак или рубашка поприличней) подходит к охраннику и уважительно, ещё издали спрашивает, будто разрешения, принимают ли в больнице кровь. У нас не принимают, пункт переливания в другом месте — туда и отсылаем. Они, когда узнают точный адрес, радуются, почти бегут, вот как за бутылкой. Сдадут кровь, получат денег, купят выпить: получается, двести граммов своей крови меняют на литр водки.

То есть буквально, продать им нечего, достать денег неоткуда и вот водка получается всё одно что кровь. Только кровь они выливают из себя, а водку вливают. Кому-то их пьяная кровь спасает жизнь. От пьяницы её можно перелить, скажем, трезвеннику, от женщины к мужчине. Раньше алкаши сдавали бутылки, теперь с бутылками их опережают обнищавшие старушки-пенсионерки, и потому сдают они кровь. Картина от и до непостижимая, невозможная, но, с другой стороны, доведённая до стеклянной ясности. Вот так же, я помню, бомжи, алкаши заходили в стоматполиклинику и спрашивали, не принимают ли коронки с зубами, может, кому-то нужно, притом зубы у них ещё были во рту и те из зубных врачей, кто мог позариться взять по дешёвке золото, должны были ведь их выдирать, а не готовенькими получать.

Ночью подваливает «скорая», под самый верх полная арбузов, так что и больному не осталось места, которого везли. Скорпомощные говорят, что где-то у «Парка культуры» омовцы взяли в оборот торговцев арбузами, нерусских — это тех, что днём торгуют, а по ночам не спят и горы арбузов сторожат, сваленных прямо на асфальт. За что-то их повязали, так что гора у метро осталась бесхозная. Омовцы тормозили машины и раздавали арбузы — бери, сколько увезёшь. Или это так они над торговцами нерусскими решили поизмываться. Вот и «скорую» эту тормознули, и нагрузилась бригада под самую крышу — в больницу приехали, подарили сами пяток арбу-

зов приёмному отделению. Часа не прошло, как новая «скорая» подваливает — и в той опять арбузы. Привезли батюшку, попа, с астмой. Он как есть в рясе да при кресте — и при арбузе. Прихватил большой арбуз, хоть и задыхается, тащит с собой — и ему повезло. Скоропомощные смеются, говорят, у метро уже настоящее мародерство, народу сбежалось, и откуда только, и чуть не с мешками, и арбузы тащут. А омоновцы сторожат, приглядывают, чтоб все до одного арбузы растащили, чтоб ничего не осталось. Даже батюшка арбуз взял, не удержался, согрешил. Когда вспоминали в приёмном ту ночь, то всегда так потом и говорили: «Даже батюшка взял себе арбуз».

Вероника, привезли с какой-то попойки, будто у ней был эпилептический приступ, вызванный употреблением алкоголя. С ней мать, очень опущенная и жалкая на вид женщина, которая таскала за собой сачки, и маленький сынишка, одетый куда приличней бабки. Мужа у той Вероники, стало быть, нет. Но ребёнок очень ухоженный, и любит сильно и как-то осмысленно мать. Живёт она отдельно. Мать плакалась, что дочь в последнее время сильно нервничала. Выпивала у подружки, где отмечала два годика её сыну. Оттуда матери позвонили, что с ней, с Вероникой, плохо. Мать уверяла, что у дочери никогда не бывало приступов. У нас она поначалу пребывала в бессознательном состоянии, потом её стало рвать. Кричала, чтоб увели ребенка — вообще она сильно кричала. Кого-то обвиняла, что её погубили, какого-то мужика. Матери сказали, что её у нас не оставят — дадут

с часок-другой проспаться, а потом пускай забирает домой. Ребенок заступался за мать: когда та блевала, а дверь в кабинете была нараспашку, то он закрыл дверь, с каким-то очень суровым выражением лица, чтобы из коридора не глазели на его мать — и это порыв очень детский, как порыв спрятаться, укрыться, только тут он спрятывал от чужих глаз мать, понимая, что с ней плохо. В общем, бабка взяла его и повезла домой, а потом должна была вернуться за дочерью. Вид у неё был самый униженный, порывалась убраться блевотину за дочерью, но это сделали санитарки, требовать ничего не могла, только выклянчивала, но вот клянчила, чтобы дочь оставили «подлечиться», а её и не оставляли; клянчила, чтобы выделили машину, а ей просто смеялись в лицо, что «каждую пьянь» не навозишься — она же терпела и это, пугаясь. И вот уехала. Вероника раз очнулась — устроила истерику. Уложили её на топчан, и она затихла, и так чуть не час прошёл. И потом кто-то нечаянно обратил внимание, что её давно не слышно — и обнаружилось, что Вероника не дышит: клиническая смерть, остановка сердца. Тогда-то начали её жизнь спасать. Но того времени, когда воротилась в больницу её мать, ничего не знающая, я не застал, потому что уже вышла смена, я сменился. Да и я не знаю теперь, когда сижу уже за столом своим и пишу, осталась жить эта молодая женщина или умерла.

К Т О Т В О Й Б Р А Т ?

Ты спрашиваешь себя: есть ли Бог? кто создал всё живое на земле? что будет с душой после смерти? Всякий верующий скажет: Бог есть, он создал всё сущее на земле и душа после смерти продолжает своё бытие. Неверующий скажет: Бога нет, природа создаёт каждый миг самоё себя, а после смерти остаётся только прах. И один верит в то, что создан по образу и подобию Божьему — а другой считает научно доказанным, что человек произошёл от обезьяны. Но можно бунтовать против науки и ставить под сомнение научный анализ и находки точно так же, как ставят под сомнение царство Божие и бунтуют уже против веры. Если мы не имеем окончательного представления о том, насколько истинны научные знания и открытия (потому что они продвигаются в непроглядную темноту нашего незна-

ния), то знание о Боге дано было в Библии совершенное, проливающее свет на всё то, чего бы человек никогда не смог прежде смерти своей узнать — однако это знание, как настезь распахнутая дверь, захлопывается наглухо уже пинком неверием.

Верующие и неверующие — суть люди, поэтому и вопрос о вере — это вопрос о человеке. Для того чтобы понять себя, люди могут выдумать то, чего не было, и уверовать в первого встречного, а могут отрицать даже то, что видят. Человек понимает себя в конфликте. Но есть то, с чем сталкиваешься, едва рождаясь на свет: несправедливое устройство мира, где одного младенчика, к примеру, встречают с цветами, а другого отвозят через чёрный ход жизни в сиротский приют.

Есть люди, и есть мир, обустроенный именно людьми, где даже природа — это всего лишь его часть. Люди перевоссоздают его облик что ни век. Если земля — это творение потусторонних сил, то творцом мира, равно как и хозяином его, является человек. Поэтому разум, душа, воля человека — это силы творческие, и, порой, соединённые даже в одном человеке, они приводят в движение народы или одним человеком совершается открытие, способное изменить весь мир. И если всё зло в мире происходит через действия человека, то и всё добро может происходить только через людей.

Вопрос о вере и о Боге ввиду человеческой деятельности есть, по сути, вопрос о цели и смысле наших действий. Каждая вера учит, в основном, одному — бескорыстию. Она же, уложенная в законы

и заповеди, здесь и сейчас побуждает человека жертвовать своими желаниями, достатком, даже жизнью вопреки животному инстинкту выживания — придаёт его действиям такие вот цель и смысл. Всё это было сказано *людям* с мыслью, что *все вместе* могут они перевесить своим бескорытием рано или поздно хоть малое, хоть великое зло или несправедливость и преобразить мир.

Но стремление к бессмертию души, к духовному спасению во многих людях оказывается таким же инстинктом, пусть и вынуждающим принять страдания, смерть. Конфликт добра и зла — это конфликт духовного спасения и животного выживания как двух стремлений к самосохранению. Я понимаю, что мир создан не мной, хотя я действую в нём и что-то могу изменить, потому что он враждебен и мне, и природе, и Тому, кто дал иные законы для жизни и путь к спасению. Мир создан конфликтом. В нём рождаются люди с волей, разумом и душой, что действуют, подчиняясь разным инстинктам. Одни — инстинкту спасения. Другие — инстинкту выживания. Понять, кто же он, человеку возможно в этом конфликте рано или поздно совершенно окончательно. Его именно что неосознанные действия в тех или иных обстоятельствах всё и скажут ему, сами направят его. Он обратится к законам спасения, чтобы действовать? Или обратится во власть животных инстинктов выживания, чтобы тоже действовать?

Законы духовного спасения поощряются обществом, а другие действуют в нём негласно и преследуются как преступные, но поменяться в обще-

стве могут понятия о морали и тогда благом будет грабить награбленное, убивать. Люди же всегда сбиваются — одни в стада, а другие в стаи. За выживание грызутся между собой и в стаях, а добычей становится почти всё, что способно если не усилить, то хотя бы продлить жизнь, даже съедобные корешки, но инстинкт выживания толкает людей прежде всего к насилию над такими же людьми. Чтобы оказаться сильным, требуется лишь найти более слабого, то есть, по сути, это воля к добру или к злу оказывается силой или слабостью. Добро может защищаться от зла, только не может действовать теми же способами, что и зло, от которого спасается. И так одни люди делят мир с другими людьми, хоть это нельзя назвать даже сосуществованием. Взаимоистребление народов обнаруживает в себе такую же заданность на тотальное уничтожение себе подобных, так един ли род человеческий сам в себе?

Когда мы уже жили, но ещё не родились, все и каждый не имея личностей, судеб, будучи просто организмами, только тогда, наверное, все мы и были подобны. Но быть — значит стать. Созданные по одному образу и подобию рождаются — и становятся кто Каином, кто Авелем. Человек пересоздается поверх расовых и национальных различий. Есть люди-авели и есть люди-каины, но уже как разделившиеся биологические виды, с глубинным разделением в самом важнейшем — в цели и смысле своего существования. Одни — с биологической способностью и, быть может, заданностью к убийству, насилию, а другие — с биологической способностью к любви и отвращению.

ем к насилию, то есть ко всему тому, что осознаётся в конце концов как зло.

Жадный не подобен щедрому. Защитник не подобен захватчику. Любящая мать не подобна той матери, которая умерщвляет своего ребёнка. Извращенец не подобен невинному ребёнку, которого растлевают. Мученик не подобен мучителю.

С этой мыслью, в этом инстинктивном противлении злу, а не в мистическом каком-нибудь экстазе или от понимания неких философских истин люди и приходят крепче всего, убеждённой всего к Богу. Авели приходят к вере, понимая себя людьми именно что неподобными тем, от которых происходит всё это зло. Каины отходят к Сатане. Созданные Богом или произошедшие от обезьяны, они — преступник и жертва — двойники, а не близнецы, и потому ответ на вопрос о происхождении людей, заданный в таком противопоставлении, вовсе не устанавливает его источника. Но из одного лона произошли Авель и Каин, убитый и его убийца. Произошли уже-то из любви и плотского греха, один — принося в мир любовь братскую, а другой — грех, братоубийство.

Добро и зло — есть разные понятия разных биологических видов людей об одном и том же: о справедливости.

Люди перевоссоздают мир уже по своему образу и подобию — по справедливости, — получая жизнь в нём как свободу к действию, и перво-наперво плодят в этом мире себе подобных. Человек сотворён в утробе, её покоем. В ней он уже существует, живёт ещё прежде своего рождения на свет. Это существо исторгается родовой мукой из

этого рая, но ведь и не рождается — а кажется, что утроба, где и было ему хорошо, в которой и было оно сотворено, избавляется от него как от бремени. Рождение — это отторжение утробой своего же плода, избавление не то что от сотворенного по тому же образу и подобию, а вызревшего в это полное подобие и как раз в тот момент, когда оно, подобие это, достигнуто. И такое отторжение — по сути наказание, насилие, вопиющая несправедливость — неотвратимо. Рождённый действует в мире с той же физиологической неотвратимостью, высвобождая любовь и грех, которыми был сотворён и которые покоились в нём, когда и он покоился в утробе. Первым новорождённым на земле, по библейской легенде, был Каин, первенец Адама и Евы. Но всё равно был пусть и не библейский, но первенец, кто первым испытал это наказание — и первый, кто в уже-то несправедливом мире, где не мог он быть единственно любимым сыном, не возлюбил своего брата, но убил. Эта месть так же неотвратима, как и наказание, когда отторгли в мир и даже в нём не дали быть единственно любимым, то есть будто бы снова отторгли рождением ещё одно такое же существо. Бог же спросит: Каин, где твой брат Авель? Не отторгнет, не накажет — а откроет тайну, что оставлена в мире возможность освободиться от греха и что кроется она в самом человеке, в его душе.

Неотвратимое, даже содеянное может быть обращено в ничто, если человек спасёт душу. Будто бы не было вины человека в том, что он убил — она в том, если содеянное умолчишь и не спасёшь своей души. Бог спасает душу человека, но не значит

ли, что только душу и признаёт Он в человеке своим творением? Тем, что создано по его образу и подобию, что единственно Ему и дорого в этом существе? Спасённая душа для Бога оказывается более действительной, чем душа загубленная, а большей справедливостью — простить, а не мстить смертью за смерть! Согласно Его воле, Каин не мог быть убит. Без спасения души оставляешь себе одно лишь судорожное выживание и страх наказания. Наказание же — это неподлинное искупление того зла, которое совершил человек, потому что в нём-то и нет никакого пути к спасению. Страх, то есть неотвратимость наказания, не успокоит души, но успокоит возможность прощения, самоочищения — будто бы возвращения того, что было исторгнуто, к покою справедливости и любви. Человек способен переродиться, а это и значит, что творение способно перевоссоздать себя, равно как люди способны всегда перевоссоздать мир, который был и до них. Но покой справедливости, всеобщее счастье оказываются недостижимыми при подневольном равенстве и успокоении людей. Они должны наступить с покоем общей воли, со счастьем всех и каждого, а не с победой того или иного большинства людей над тем или иным меньшинством, иначе станут наказанием и мезтью.

Достижимо ли это?

Человек рождается в мир, получая свободу действия, а ищет в нём *покая справедливости*, то есть ищет рая небесного на земле, превращая её что ни время в ад. Верой в спасение решается этот вопрос в прощении и любви, но, значит, и решается

в главном всё же не людьми, как и зов об этом пришёл не от людей — а свыше. Значит, рай существует и достижим, но его нельзя добыть по справедливости, а можно только получить как прощение — и если получить, то откуда же, как не свыше? Он не даётся с той же неотвратимостью, что жизнь или смерть. Обретение покоя со смертью, в смерти, уход уже из жизни, повторяет по сути своей акт рождения — только утроба избавляется от своего подобия, а мир уже, наверное, от своего. Но тех, кто очистится любовью и прощением от грехов, рождение и смерть выводят к воскресению и бессмертию. Значит, жизнь — это путь преобразования, путь подлинного уподобления своему Создателю. Или путь отторжения от Него, путь в никуда — в ад и на земле, и в преисподней.

И такое продолжение жизни для тех, в чьих душах борются любовь и ненависть, зависть и бескорыстие, низость и стыд, должно представляться куда более реальным, чем откопанный где-то в вечной мерзлоте почернённый череп человекообразной обезьяны и несколько каменных орудий то ли труда, то ли убийства, найденных там же, в её могиле, когда всё это выставляют напоказ как вещественное доказательство того, что весь путь человечества ведёт только в эту же обезьянью могилу.

К О Н Е Ц В Е К А

Рождество было или не Рождество, но праздник этот признавался как государственный, отмечался уже наравне с Новым годом, и могло иметь место, что отмечали той ночью в горбольнице, точно теперь не скажешь, и Рождество. Столпилось праздников, будто справляли старого года похороны. И все дни густо валил снег, засыпая бездонную Москву. Было дремотно от жгучих морозов, белым-бело, и долготу дня утопляли болотисто-морозные белые ночи.

Больница не отдыхала, была двойная оплата труда, и всегда находились люди, которых даже большинство, готовые продать тут свой праздник за эти праздничные: огромные, как чудилось, и валившиеся чуть не с неба деньги. Кто мог радоваться, все выпивали, — успевая с душой и дружно только начать, но вскорости, не ворочая языками, исходили тоской. Но не все радовались. Будто военнообязанные, пропадали в кабинетиках док-

тора, одиноко отбывая круглые сутки дежурства. И простые бабы да старухи, егорьевские и куровские подмосковные, из санитарок, осилив работу, какую ни есть, укладывались всех раньше дремать — хоть и не сомкнуть было глаз, как и не срастись боком с неживой, для медицинских осмотров, кушеткой, покуда кругом-то маялись спьяну и не хотели смирно лечь по местам. Скоропомощные будто и отъездились, никакой тревоги. Полночь. И в отделении приёмном больницы — глухой покой.

Но вдруг, слышно, завернула и въехала с нытьем одинокая машина. Так всегда и является эта «скорая», будто из-под земли. Баба не спит и гадает — может, пронесло. Но дурной истошный звонок режет как по-живому стены и воздух. Дверь на запоре. Отпирать не идут. Ей и страшно, что отпирать не идут, и всё равно надо будет вставать, но лежит в потёмках комнаты отдыха и, вся твердея, со злости-то радуется: пускай охранники отпирают, как положено, а то им праздник. Звонок уж по всей больнице неумолчно пилит. Тут, слышно, выскочил от сестер, из шума пьяного да танцев, охранник и побежал тяжело, будто шагая ударами. Стихло, и слышно, как трудится он в гулком предбаннике, отпирает. Раздались звонкие чужие голоса, ругнулся натужно охранник. Привычная, баба чутко уловила, что пошагали в сторону, поспешая, за каталкой — значит, лежачего привезли, вот бы не борова, а то как ей потом будет одной, этих разве допросишься помочь. Нагрузили, вкатились обратно в приёмник, но куда-то не туда, не в осмотровый кабинет. Охраны уж больше:

топчут, матерятся. И всё звонче, до крика, сделались чужие голоса. Сколь же народу в приёмном собралось, будто и все повыскакивали, ну и собрание, ну и ругаются, какой такой вопрос. И хоть страшней на душе, но дрожаще пытается бабу незнание: что у них стряслось — может, не успели, не довели, и не станет ей, грешной, работы этой. Но голоса вмиг оборвались, и не слышно, что в приёмном будто все вымерли, и чего-то не гремят, ребятушки, не запираются. Вдруг дохнуло горячо светом, вырос на пороге паренек ихний, из охраны, и гаркнул в темноту комнаты, веселясь, пьяный: «Тонька, Тонька — с прааздничком! Бомжааа приезли! Сказали, на обработку его, эта знач ты его будешь обт...трабатывать!»

Когда молоденькая растрёпанная врачаха, ни упрёка не произнеся, хоть и поморозили, влетела воробышком в приемное и потребовала с охранников каталку, то никто не подумал расспрашивать, кого доставили, и выдали ей каталку, подчинившись ни с того ни с сего, хоть могли и послать — охрана отродясь чужакам не подмахивала. И шибануло всей вонью земной. Втащили его вдруг на каталке, задраенного в полиэтилен, так что из того полиэтиленового мешка, стеклянистого на вид, торчала одна грязно-каменная ступня. Кто был, хоть и пьяные, разбежались, от удущья и от испуга. «Быстро, мальчики, родненькие, куда его? Надо закрывать больницу на санобработку — тут и вошь платяная, и чесотка!» Но никто не двинулся им помогать. Девчушка и мужик, водитель «скорой», застряли в проходе, давясь от вони и боясь сами мешка, который сотрясался навзрыд

звериным, будто рев, хрипом. Охрана, услышав про чесотку, уж не зевала — и кинулись перекрывать выход, чтобы скорпомощные теперь не сбежали, бросив мешок. «Да вы что, ребята, что вы делаете?!» — вскричала девчушка, понимая, что происходит, и становясь вдруг от навернувшихся жалких слезок пылающе живой и красивой.

«Не выпустим, пускай сначала врач осмотрит, а то и назад поедете. Не, ты гляди, Вань, на эту снегурочку, ещё орет! Не нравится ей, тогда проваливай, нужны нам такие подарки!» — «Суки вы, вон морды нажрали, ребята в Чечне погибают, а вы подъедаетесь на больничных харчах!» — ожил крикливо, вступаясь за свою врачуху, пожилой водитель, у которого из-под кроличьей дражной шапки торчали грязные волосья, похожие на петушиный масляный загринок.

Стали орать, ненавидя друг дружку. Дежурный доктор, которого вызывали в приёмное, не спешил. Когда же он явился, то охрана тихонько посторонилась, будто выстроилась в рядок, так как все были виноватыми и пьяными. Доктор даже не подошел к хрипящему мешку, чтобы осмотреть. Глядя брезгливо на девчушку, он выслушивал долго её показания, придираясь и перебивая, а то и грозя, что куда-то будет звонить и докладывать. Выяснилось, что привезли его с Лужников, где «скорую» вызвала сама рыночная охрана, на что больничные заржали, зная понаслышке, какие в Лужниках порядки. «С чем вы его сдаёте?» — в какой раз требовал доктор повторить. «Обморожение», — твердила девчушка, прячась от его взгляда. Все стояли подальше от каталки,

которую не руками — сапогами охранники забили в угол, и глазели. «Какое обморожение, девушка, конечностей или трупа?» — «Прекратите, он дышит, он живой...» — «Хорошо, но вы говорите про множественные ушибы лица, а если есть и черепная травма — что прикажете с ним делать? Вы отдаёте себе отчет, девушка, что у нас другой профиль?» — «Да это лужниковские, небось, доигрались, а как страшно стало, что убили, вызвали «скорую», чтобы поскорей его сбagrить. Вот и обморожение, а эта, дурочка, поверила!» — не утерпел, высказал охранник. Вплыла тут в приёмное и тощая, вся зевая, медицинская сестра, которая обиделась на всех и плаксиво гундосила: «А почему к нам всех этих бомжей везут, я не знаю! Зачем тут охрана, ну зачем этих бомжей впускают! Сегодня праздник, девушка, понимаете, а вы его портите, я не знаю».

«Хорошо, давайте по-хорошему... Я подписываю наряд, и езжайте на все четыре стороны, но этого, не считайте за труд, подбросьте куда-нибудь до Бережковской набережной, и будем считать вопрос исчерпанным». — «Нет, я отказываюсь, это же человек!» — «Человек?!» — «Чтоо, человекеек?» — «Не, глянь, а нас за людей не считает!» — «Девушка, я не знаю, да вы сами не человек!» — «Какой такой человек, что это за разговоры, да кто вы такая?! Охрана! Охрана!» — «Человек — а ты говно его нюхала, этого человека? нравится, тогда и бери себе!»

Вдруг уничтожилось, остановилось глухо время, пожрала воздух удушливая, воняющая одним мешком пустота. Всё кончилось, и нечего было

кричать. Доктор огрызнулся последний раз и скоро пробежал, серьёзный и чужой, прокричав, чтобы бригаду отпускали.

Каталку затащили на санобработку, в подсобную комнатку, где торчало только корыто ванны, и всё было обложено до потолка скользким кафелем. Девчушка исчезла, но бродил по приёмному водитель, будто потерянный, выпрашивая под конец униженно у охранников какой-нибудь растворчик от вшей, чтобы побрызгать в кузове. Охранники его не замечали, даже не отвечали, молча опять пьянея, шатаясь по приёмному без дела. От нечего делать подняли на ноги санитарку и загуляли.

Так мешок пролежал ещё час на санобработке — баба побоялась, что никого в приёмном нет и что указаний никаких от докторов не поступало, и потому спряталась в комнате отдыха, сидя на кушетке без сна. Приёмное потихоньку заванивало. В часу втором привезли на «скорой» больного с аппендицитом, и доктор, выйдя на осмотр и обнаружив вонь, сказал, чтобы охрана что-то сделала — что довольно уж тот побыл в тепле, пора и честь знать. Охранники — как выкуривали порой и отсыпающихся пьяных — настезь распахнули окна. Мешок всё хрипел. Мороз сковал комнатку, и сколько-то прошло времени, даже мешок тот из полиэтилена, чудилось, оледенел. Доктор звонил, проверял, — но обнаружилось, что мешок всё ещё присутствует в больнице и сам от холода не ушел. Мороз-то ихнему брату что кожа, и доктор всерьез распорядился, чтоб охрана прекратила пьянствовать и подняла его и вытолкала прочь. Охранники не держались на ногах, только одного

стоячего, полутрезвого и отыскивали, передав распоряжение дежурного: что больной отказался от больницы, что больной встал и пошагал домой — отказался, ушел, сбежал. Возни с этим гражданином никому не хотелось, так что ничего не осталось пареньку, как собой рисковать.

Охрана тут крепко боялась вшей, случаи были, когда вши на охранников перебежали, и только страх, что пьянствовали, толкнул паренька всё исполнять. Боясь притронуться к заразному мешку, сам не дыша от натекшего в санобработку холода, он взял швабру и, орудуя ею как палкой, как пикой, принялся его колоть да выколачивать, чтобы встал. Мешок хрипел чуть сильнее от тычков и от ударов, и нога, которая торчала, мучительно ползла и свешивалась с каталки, но стоило пареньку отдохнуть — уползала опять, будто на пружинке. Тогда свалил паренек мешок с каталки на пол и стал пинать сапогами, чтобы он дополз, но скоро понял охранник, что это не выход и что до двери-то, может, его и добьет, зато кто ж его будет заставлять ползти дальше. Санитарка, которая слышала всю эту возню в санобработке, побоялась, что паренёк так и убьет его нечаянно, раз ничего не получается, и, стараясь больше ради того паренька, пришла на помощь: уговорила, чтоб не вытряхал вшей, и дала ему хлорки, только бы не бил. А тому пришлось в голову развести в банке хлорку и полить его, будто нашатырем. А тот захлёбывался, мычал, дергался, но не вставал — и тогда паренёк сдался. Несчастный охранник, боясь, что по нему уже ползают вши, стал плакаться бабе, что не может вынести эту работу, и, обретя откуда-то бесстрашный дух,

пошагал звонить доктору, докладывая: что ничего с ним сделать нельзя, что он никак не встаёт и, может, даже скоро помрёт. Доктор дал совет пареньку будить своих и увозить его подальше от больницы, на каталке, и скинуть в сугроб. Но паренек сказал о вшах, чесотке и отказался наотрез. И доктор, сам уже понимая, что придётся принять, сказал, чтоб его отдали обрабатывать санитарке и что спустится, когда вымоют, на осмотр. После этих слов прошло ещё время, потому как, убедившись, что он полуживой, ждали просто его смерти. Чтобы даром не возиться. Думая, что до ночи не доживёт. И баба, санитарка, убеждённая охранником, всё откладывала да ждала — того же охранника, чтобы ей помог. Потом она устала ждать и одна начала его обрабатывать, чем могла оберегаясь: волосы спрятала в косынку, натянула резиновые перчатки, халатец второй драный и соорудила на рот повязку.

Было ей нестрашно, только боялась, что застудится. «Лежишь вот, зараза ты, квартиру продал и лежишь», — пыхла Антонина, не зная, с какого боку к нему подойти. Сухонькая, почти костлявая, она отволокла мешок ближе к ванне, удивившись, до чего легок, будто пухом набит. Воня она не слышала. Жалко ей было портить такую большую плёнку, подумала — может сгодиться, если потихоньку её от него высвободить, а потом отмыть. Надо ж, снабжают их, скорпомощных, такой плёнкой, не жалко для бомжей. Но, вспомнив про чесотку, решила уж без жалости резать, так и легче — надо ей собой рисковать, заразу в дом нести. Одежды до того были на нём гнилые, что и сами распадались, вшивые.

Избавившись с трудом от гнилья, Антонина облила ему растворчиком в паху, тощую бородёнку и голову, уничтожая вшей. Должно было обождавать минут пять, чтобы жидкость подействовала. Он лежал голый на кафельном, залитом и хлоркой, и ядом полу, и его надо было ещё остричь, а потом уже класть в ванну. Вода, которую пустила баба, дымила кипятком, и Антонина отчего-то переживала и ругалась, будто её обманывали и лился кипяток вместо горячей. Потом стригла голову, выбрасывая травленные космы волос в ведро. Ножницы были тупые, здешние, и она материла уже эти ножницы, похожие на плоскогубцы. Тот покойно и теплей похрипывал — может, испытывая небесную легкость, что вши исчезли. Баба думала легко его поднять, но вдруг надорвалась — он будто и тяжелей сделался без полиэтилена, без гнилых своих одежд, без волос и вшей.

Нет у ней сил тащить этот груз в ванну. Потопталась. Решилась было уйти и звать охрану, пускай тащут. Но знала же она, что не станут и лучше спрячутся, бросят его; а он-то на полу лежит. Жалко, что на полу. Нельзя так. Да и доктор, может, ругаться будет, что бросили. «Тьфу ты, да не надорвусь, легкий же он, откуда в нём весу взяться, а я дура! ну, давай, чего развалился, мне, что ль, зубами тебя тащить. Вставай на ноги, хоть упрись, слышь, а то брошу. Понарожали вас, толку-то, только знаете, что жрать да пить. А ну, упрись, сказала, давай, что я, одна надрываться буду, что мне, делов других нету!» Взвалила его, тужась из последних сил, на живот. «Ногу затаскивай!» — кричит, и тут почудилось ей, что стало от крика

и легче. И он-то захрипел, захрипел и перетащил ногу одну, трясущуюся и скрюченную, в ванну. «Другую давай, я ж держу, вон водичка горячая, ну ты упрись, не жалея-то себя, рано ещё». И другая его нога, шатаясь и дрожа, опустилась в дымящуюся воду. Тут и баба его спустила потихоньку. «Ух, отмокай... Ну и вони с тебя, ну и вони...»

Уверовала Антонина, что он слышит, всё понимает. Мыть его потому стеснялась и противилась — но, видя, что он не двигается, а только будто млеет, покричала да принялась тереть. От воды валил столбом пар — и он то пропадал в нем, то вдруг являлся, так что баба и отмывала его, ничего в том чаду не видя, только без умолку горячечно выговариваясь: «Я мужа своего сроду не мыла, а тебя вон мою... Ну чего ж вам не живётся, заразам, и охота вам ходить-то в говне... А потом отмой вас от этого говна, а ты знаешь, какая у меня зарплата, да я ещё вас должна отмывать, сраных да ссанных, тьфу... Вот одни люди работают всю жизнь, горбатятся и помирают потом с грыжей, с пустыми карманами, никому не нужны, хоть и работали, а другие не работали ни в жисть и такие же им права — ванна, горячая вода...»

Вода теперь шумно хлестала из душа, ванна обмелела, таял и белый чистый столб пара. Баба стояла с душем в руках, который держала, будто пожарный шланг, и тушила, где видела, оставшуюся тлеть грязь. Думая о той грязи, Антонина вдруг стихла и ослабла, увидав с ног до головы и всего этого человека. Это был молодой человек, чуть не мальчик — но измученный и тощий, как старик. Чесотка сделала его кожу одной тем-

нотой, и только лицо да руки были режущей белизны, красоты.

Он лежал в корыте грязной больничной ванны так глубоко и убито, будто висел, приколоченный к ней гвоздями. Что баба силилась отмыть как грязь, но так и не отмыла — свинцовые полосы, черные пятна — были раны. Но такой, израненный, и делался он вдруг человеком, так что у Антонины сщемило несвоей болью сердце. Тишина в санобработке, недвижимая и тяжкая, что оглушила её, теперь ушла в сырой холодный покойный воздух, в подпол и стены кафеля: человек этот не дышал и был, чудилось, давно уже мёртв.

Не двигаясь с места, Антонина отстаивала минуту за минутой с долготой то ли мучения, то ли терпения — и не зная, как теперь быть. Живая душа, одна во всей этой воздушной непостижимой тиши, баба никак не могла одуматься и начать выполнять ту, другую работу, которая и не была для нее другой — чёрная да сподручная. В том, кого она обрабатывала, готовилась уж вытащить, больше не было жизни; и такой вот чужой, будто убитый, он и всё вокруг делал другим, чужим. Стоя неподвижно, ничего не знающая, не помнящая, баба глядела и глядела на него, как он лежит, и взгляд её измучивали белокожие и гладкие, что небесные, его ручонки — уроды в том панцирном, рачьем от чесотки теле.

Сутки дежурства у всех одинаково подходили к концу. Народец в горбольнице начинал шевелиться, вставать. Хождения начинались с докторов. Доктор, объявившийся под утро в приёмном покое, обнаружил, что все спят и в санобработке —

свежевымытый труп. Узнал от одинёшенькой санитарки, что всех она звала, но никто не пришёл.

Охранники, спросонья, с похмелья, не взяли в толк, что санитарка, будившая их, просила вытащить из ванны труп. Но когда выяснилось, что это труп и что бомж так и помер на обработке, они с уныньем пошагали делать свое дело — охрана тут, позарившись на добавку в деньгах, отвечала и за морг. Доктор, усталый и дремучий, оформлял теперь, сидя безвылазно в кабинетике, эту смерть. Делала что-то и гундосая, плаксивая медсестра, которой не дали доспать, — писала по трупу исходные данные зелёной, как тут и было положено: на кастрюлях пищеблока малевали номерняки отделений масляной, всегда отчего-то кроваво-красной краской; на синих казённых пижамах вытравляли учетные номера хлоркой; подушки, простыни, пододеяльники, халаты, полотенца штамповали, будто бумажно-важные, той же печатью, что и больничные листы, свидетельства о смерти, акты о приёме вещей или накладные; а трупы метили зелёной.

Все не спали, все трудились. И хоть промаялись почти сутки без дела — но теперь, под конец, ругались, что без отдыха все сутки работали. И точно так, променяв праздник на двойную оплату, почти и не праздновав, а отбывая дежурство, вдруг откуда-то помнили, что праздник был — и вот под конец испортился, сгорел. И все жалели да жаловались, что неизвестный умер. Труп вынуждал оставаться на рабочих местах — и только охранники, которые скоренько спустили его лифтом в подвал морга, хоть и глотнули в том подвале хо-

лода, сменились и ушли по домам. Всех дольше убиралась в санобработке санитарка, глядя безразлично куда-то под ноги, в пол. Кто ходили, бежали кругом — доктор, сестра, охранники — успели, растоптав лужи натекшей тут водицы, ядовитой да с хлоркой, нахлюпать по всему приёмному, во всю извилину его коридоров. И ползала баба с тряпкой и с тазиком, не разгибая спины, из конца в конец, и тихонько от бессилия плакала...

Когда после праздников заработала и приехала труповозка, то не обнаружили тела — тела неизвестного. В ледящей пещере морга бетонная лавка была голо покрыта белой, в темнотах мертвецкого пота, простыней. Ту лавку и простыню опознали охранники, которые собственными руками сгружали тело неизвестного, завернутое ими, чтобы не заразиться. Только оно и должно было храниться в морге. Все праздничные дни никто больше в больнице не умирал, будто терпели, так что охранники, той ночью разок спустившись в подвал, уже и не наведывались и не могли знать, когда оно точно исчезло. Но булыжная дверь, что вела с больничного двора в подвал, оказалось, не имела вот уже год замка, и потому прибывшей по вызову милицией был установлен как сам собой разумеющийся факт ограбления. Это чудо, кража трупа бомжа из морга, обнародованное с пылу да с жару столичными газетками, ужаснуло читающую Москву. Но на другой день о нём уже никто не помнил, только разве в самой больнице, где приказом главврача уволили нерадивых охранников и врезали замок в дверь морга.

Павлов О.О.

П-12 **Русский человек в XX веке. — М.: Русский путь, 2003. — 248 с., ил.**

ISBN 5-85887-166-6

Новая книга лауреата Букеровской премии представляет его размышления о русской жизни, основанные не только на личном опыте писателя, но и на письмах, адресованных в фонд А.И. Солженицына в начале 90-х годов. Это не просто сборник эссе и очерков, а «связка жизненно важных и метафизически значимых вопросов, для понимания которых необходимо реальное переживание чужой человеческой боли».

ББК 84(2Рос)6

Сайт Олега Павлова в Интернете
www.pavlov@nm.ru

Олег Олегович Павлов
РУССКИЙ ЧЕЛОВЕК В XX ВЕКЕ

Редактор *О.Б. Василевская*
Корректор *А.З. Лазуткина*
Верстка *П.А. Сандомирский*

ЛР № 040399 от 03.03.1998

Подписано в печать 20.06.2003

Формат 70x100/32. Тираж 3000 экз. Заказ № 7189

ЗАО «Издательство «Русский путь»»

109004, г. Москва, ул. Нижняя Радищевская, д. 2, стр. 1

Тел.: (095) 915-10-47. E-mail: moskvin.rp@mtu-net.ru

Отпечатано в типографии ФГУИПП «Янтарный сказ»

236000, Калининград, ул. К. Маркса, 18

ISBN 5-85887-166-6



9 785858 871667 >

